

ДРУГАЯ СТОРОНА
ГАЛАКТИКИ

ТОМ I
ДОРОГА МЕЧТЫ



WKPРР

WKPВ

**Другая сторона Галактики.
Том I. Дорога мечты**

«Автор»

2026

WKPВ

Другая сторона Галактики. Том I. Дорога мечты / WKPВ —
«Автор», 2026

Планета под светом двух солнц застыла на пороге новой эры. Континенты расколоты, нации разделены, а старые магнаты мертвой хваткой держатся за власть, не желая пускать будущее на порог. Но у двух братьев есть план, как сшить этот разрозненный мир воедино. Ализир Фокстроджент — харизматичный визионер. Альгор Никс — замкнутый гений, чьи чертежи на десятилетия опережают время. Чтобы добыть средства на постройку грандиозного мегаполиса Синтрициуса, они бросают вызов алчным промышленникам. Ставка — их жизни и все патенты, условие — кругосветное путешествие за 90 дней, используя лишь смекалку и обычный транспорт. Так начинается великая гонка. Впереди братьев ждут бури, смертельные ловушки, тайны древних лесов амазонок и спасение похищенной принцессы Шиалы. А по пятам за ними следует их старшая сестра Сара, тайно защищающая экспедицию от саботажа и наемных убийц.

© WKPВ, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Собор из ржавчины и мечты	5
Глава 1. Пари на краю света	14
Глава 2. Внеплановая остановка	25
Глава 3. Живые стены и мертвые гвозди	34
Глава 4. Усадьба за поющими садами	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Другая сторона Галактики.

Том I. Дорога мечты

Пролог. Собор из ржавчины и мечты

В те дни мир был ещё молод, и два солнца, Тристан и Изольда, казались новыми — только что распакованными из бархатной шкатулки космоса. Алый Тристан лениво полз по утреннему небу, заливая всё густым медовым светом, вязким и древним, а голубая Изольда уже висела высоко и колола воздух тонкими, аналитическими иглами лучей. Из-за этого у каждого предмета лежало по две тени: одна размытая и тёплая, прощающая недостатки, другая — резкая, холодная и бескомпромиссная. Таким же был и сам их мир, застывший на перепутье эпох: наполовину уютная сказка, наполовину безжалостная теорема.

В самом сердце Мекрории, в родовом поместье Фокстроджент, камни которого помнили времена до основания государства, десятилетний Ализир открыл глаза. Он тут же вскочил, отбросив одеяло, потому что просто лежать было невыносимо, а скучать он физически не умел — скука казалась ему формой медленной смерти. Комната встретила его привычным, тщательно выверенным разгромом. Оловянные солдатики, которых вчера вечером гувернантка выстроила в безупречный парадный строй на комод, теперь усеивали ковер — ночью они штурмовали неприступную цитадель, сложенную из отцовских фолиантов по истории инженерии, и штурм, как водится, выдался отчаянным и кровавым. Безупречно застеленная кровать была смята не сном, а дерзким абордажем: с неё он на рассвете десантировался на палубу воображаемого воздушного фрегата, и льняная простыня так и осталась парусом, сорванным шквальным ветром с невидимой мачты.

Порядок в эту комнату приносил отец. Хаос генерировал сам Ализир. И по тому, как одно упорно перетекало в другое, любой, кто умел читать архитектуру чужого личного пространства, прочёл бы душу этого мальчика без единого слова: это была душа, которой было тесно в заданных границах.

На широком подоконнике, скрестив босые ноги, уже сидела Сара. Она пришла раньше, чем он проснулся, — как приходила всегда, неслышная и неизбежная, — и теперь строчила что-то в своей потрёпанной тетрадке, от усердия прикусив кончик языка. Сара была старше на два года и считала своим негласным долгом будить брата, ловить его на крутых поворотах лестницы, одергивать воротник его вечно помятой рубашки и незаметно совать в карман яблоко или мятный леденец, пока отец не видит. Никто её об этом не просил. Просто в ней уже тогда просыпался тот самый инстинкт, который годы спустя заставит её защищать целый гигаполис: она не умела жить иначе, кроме как оберегая тех, кого любила.

— Ты опять, — сказал Ализир хрипло со сна, шурясь на двойной перекрестный свет из окна.

— Я записываю, чем кончилось, — не поднимая головы, отозвалась она. Карандаш замер над бумагой. — Твои солдатики ночью победили. Но их командир потерял ногу под обломками крепости, и теперь его несут на щите, а пылевые монстры из-под кровати отступают в щель под плинтусом и кланутся отомстить. Хочешь, завтра будет про то, как ему делают протез из часовой пружины?

Ализир фыркнул, запустив пятерню в непослушные черные волосы, и сел на край кровати. Он никогда не рассказывал Саре про свои ночные баталии вслух — она считывала их сама, по траекториям опрокинутых фигурок и узлам на смятых простынях, и додумывала продолжения, от которых у него самого захватывало дух. В её тетрадке его игры обретали вес и

смысл, становились больше, чем просто детской возней. Это было единственное место в огромном, строгом доме, где его выдумки принимали всерьёз, как факты.

А внизу, в гулком мраморном холле, уже мерно стучали шаги отца. Глава рода Фокстроджент не будил детей и не заглядывал к ним в спальни с проверками — он просто оказывался внизу раньше всех, как оказываются на своем месте вековые горы и путеводные маяки, и терпеливо ждал, пока остальной мир подтянется к его гравитационному полю. Он был справедливым, непререкаемым и мудрым, и Ализир любил его той почтительной, благоговейной любовью, какой горожане любят величественный памятник на главной площади: издали, не подходя слишком близко, чтобы не почувствовать холод камня. Отец учил его истории их крови, понятию чести и священному долгу перед фамилией. Но он никогда не учил его, как построить из стульев дирижабль, и, что пугало Ализира больше всего, никогда не спрашивал, зачем мальчику вообще нужно летать.

Ализир был принцем в этом маленьком, безупречно отлаженном королевстве порядка. И этим утром, как и каждым другим до него, он отчаянно скучал.

За утренним столом в огромной столовой, где всё — от узора паркета до расстановки фамильного серебра — подчинялось неумолимой симметрии, было неожиданно шумно и тепло. Отец восседал во главе стола, словно капитан тяжелого дредноута, а Ализир и Сара устроились по одну сторону от него. Сидеть порознь, разделенными полированной пустотой длинного стола, им и в голову не пришло бы.

Сара болтала, не переставая жевать, и увлеченно рассказывала, какими именно коварными свойствами обладает придуманный ею на сегодня пылевой монстр. Ализир перебивал её с жаром тактических поправок, и они спорили так яростно и так абсолютно согласно, как способны спорить лишь те, кто вырос в одной песочнице и годами вел бескомпромиссные войны за единственное ведро для строительства крепостей.

Отец слушал их краем уха, делая вид, что поглощен утренней прессой, и прятал в усы улыбку. Ту самую, редкую, которую он позволял себе только дома, за тяжелыми дубовыми дверями, где непреклонный глава рода Фокстроджент снимал броню и на короткое время становился просто человеком, которому до боли в груди нравится, как его дети шумят по утрам. Тот ледяной порядок, которого он требовал от выправки оловянных солдатиков и от их собственной осанки, был не клеткой, а его личным, выверенным способом любить. Он не умел строить из стульев дирижабли и не понимал, зачем им летать, но умел молча, одним точным движением пододвинуть сыну блюдо с любимыми марципанами. Он не умел играть в пиратов, но умел дважды за ночь бесшумно войти в детскую, чтобы проверить, не сползло ли с кого одеяло.

Ализир знал это, чувствовал где-то на подкорке. Просто в десять лет знать о такой правильной, тихой любви — смертельно скучно. А скучать он не умел.

И тогда отец заговорил — и завтрак разом стих. Секунду назад тончайший фарфор звенел ложками и беззаботным смехом, а теперь он стал звенеть тише, чем вдруг тяжело забившееся сердце Ализира.

— Сегодня к нам приедет твой дядя со своим сыном, — сказал отец ровно. Это был тот самый голос, которым оглашают непреложные приговоры и подписывают государственные указы. — Альгор проведёт с тобой весь день. Постарайся, чтобы ему не было скучно.

Ализир едва не подавился сладкой бриошью. *Альгор*. Его двоюродный брат. Мальчик, который на восторженный вопрос «поиграем в пиратов?» поправлял очки на переносице и ровным, академическим тоном объяснял, при каком угле наклона мачты-колонны перелом обеих ног становится статистически неизбежным — и объяснял это так вежливо и логично, что Ализиру нестерпимо хотелось запустить в него самой тяжелой диванной подушкой.

Альгор никогда не бегал наперегонки с другими детьми; он шел следом, отставая ровно на полшага, и молча фиксировал, кто, где и как именно споткнулся, чтобы потом, за чинным

ужином, без тени улыбки выдать это как сухой технический отчет о прочности напольного покрытия. Отец однажды, показывая сыновьям карту владений, обвёл пальцем пустынный остров у побережья и бросил мимоходом: «Туда не суйтесь — там и так есть люди, и земля ничья только на бумаге». Ализир пропустил это предостережение мимо ушей, тут же забыв за ненадобностью. Альгор — нет. Альгор наверняка запомнил координаты, рассчитал площадь острова и прикинул плотность потенциально враждебного населения.

Под столом, в безопасном укрытии тяжелой скатерти, не глядя на брата, Сара нашла его руку и сжала. Коротко, крепко, абсолютно буднично — точно так же, как совала ему яблоко в карман. Без лишней драмы, без сочувственного взгляда в глаза, транслируя лишь одно: *я тут, держись*.

Ализир стиснул её пальцы в ответ. Старшая сестра снова встала глухой стеной, как вставала всегда, принимая часть удара на себя. В это мгновение он вдруг поймал себя на том, что помнит отца другим. Он вспомнил его на корточках у мыльной ванны, с закатанными рукавами белоснежной рубашки, когда тот оттирал им с Сарой въевшуюся зелёную краску с разбитых коленок и беззлобно ворчал, что в следующий раз они будут рисовать только в саду и только в старой одежде. *Тот* отец никогда бы не отдал целый день на растерзание зануде Альгору.

Но тот отец остался там, в безопасном тумане раннего детства. А за столом сидел этот — живой монумент долгу и правилам. И сегодняшний приказ исходил от его всеобъемлющего чувства правильного, а не от жестокости. От этого понимания не становилось легче, но мир впервые обретал пугающую, холодную взрослую логику.

— Но, папа! — взмолился Ализир, чувствуя, как его безупречный день неумолимо летит в пропасть. — Он же... он же *читает*! Весь день!

— И это прекрасно, — невозмутимо парировал отец. Незримая улыбка в его усах уже спряталась обратно, глубоко под суровый фасад, до следующего утра. — Возможно, и ты чему-нибудь научишься. Он твой кровный брат. Найдите общий язык.

Это была не просьба.

Когда тяжёлый, сверкающий лаком экипаж дяди остановился у парадного подъезда, Ализир уже стоял у высокого окна в холле. Сара замерла рядом, привычно облокотившись на его плечо — пропустить такое событие они оба не могли.

Альгор вышел из кареты последним и сразу начал щуриться даже в перекрестном свете двух солнц, будто сам факт дневного освещения был ему лично неприятен и нарушал какие-то фундаментальные законы оптики. Он был на год младше Ализира, но сутулился под невидимым грузом и смотрел перед собой так убийственно серьёзно, что казался старше на все три. В руках, прижав к самой груди, он держал толстую книгу в кожаном переплете.

Ализир посмотрел на неё и с тоской подумал: *вот оно, его оружие и его щит, сейчас начнётся глухая осада скукой*.

Сара посмотрела на ту же книгу и прочла совсем иное.

— Смотри, как он её держит, — тихо сказала она, не отрываясь от стекла и почти не шевеля губами. — Не как щит. Как тонущий мертвой хваткой держится за единственную доску. И из кареты он вышел последним не потому, что такой важный. А потому что боялся ступить первым на чужую дорожку. Он тебя боится больше, чем ты его.

Ализир фыркнул. Ну да, конечно — боится его этот ходячий справочник, который наверняка знает наизусть температуру плавления всего на свете. Он не стал спорить вслух, просто отвернулся от окна, потому что ему и без того было тошно, а слушать, как сестра жалеет его будущего мучителя, — тем более. Но где-то на самом дне сознания, под слоем мальчишеской злости и предвкушения тоски, слова Сары зацепились и остались там лежать, непрочитанные, как ценная монета, оброненная в густую траву.

Первый час их встречи тянулся, как расплавленная резина. Вежливые улыбки взрослых, от которых у Ализира мгновенно свело скулы. Затем — неловкое, ватное молчание, оставшихся наедине детей, в котором было оглушительно слышно, как в холле тикают напольные часы. Ровно, неумолимо, будто отсчитывая штрафное время для них обоих.

Сара в этот пыточный час то появлялась, то исчезала: принесла кувшин с лимонадом, забрала забытую на столике тетрадку, мимоходом поправила Альгору съехавший на локоть жесткий рукав пиджака — и каждый раз бросала на гостя быстрый, сканирующий взгляд, каким смотрят на новичка, которого ещё предстоит раскусить. Альгор от её неожиданного прикосновения вздрогнул и густо залился краской, а Ализир этого даже не заметил, полностью поглощенный надвигающимся отчаянием.

Он сделал попытку спасти положение и показал кузену свою гордость — коллекцию оловянных солдатиков. Альгор поправил очки на переносице, долго и внимательно изучал кавалериста, а затем ровным голосом заметил, что сплав, из которого они отлиты, имеет слишком низкую температуру плавления и высокую пластичность, из-за чего для реальных баллистических нужд эта армия категорически не годится.

Ализир сглотнул и предложил поиграть в пиратов. Альгор, не моргнув и глазом, тут же в уме рассчитал, что с учётом их суммарного веса и высоты мачты-колонны в холле, падение с неё приведёт к статистически гарантированному перелому обеих ног — и озвучил это так вежливо и безапелляционно, что Ализиру снова захотелось запустить в него подушкой, только теперь уже не от скуки, а от полного, парализующего бессилия.

Отчаяние подкатило к самому горлу. Он был готов сдаться, махнуть на всё рукой и бежать, оставив кузена наедине с отцовской библиотекой и напольными часами — пусть себе считает гипотетические переломы в тишине.

Но у Ализира Фокстроджента идеи никогда не приходили тихим, книжным озарением; они рождались из того, что ему становилось физически невыносимо сидеть на месте. Тело само искало выход, любой, лишь бы не этот проклятый стул и не этот безжизненный вежливый голос брата. Оно бурлило, как пар, срывающий крышку с кипящего котла. И сейчас, на самом дне отчаяния, это тело нашло идею. Самую безумную. Рождённую не из скуки даже, а из чистого, неразбавленного духа противоречия — назло тикающей тишине, назло расчетам, назло всему дому, который именно сегодня решил быть до тошноты правильным.

— Пойдём, — сказал он, резко поднимаясь, и в его голосе впервые за этот бесконечный день прорезалась настоящая, дикая жизнь. — Я покажу тебе место, которого нет ни на одной карте нашего поместья.

Он повёл Альгору не в ухоженный парадный сад и не на конюшню, а за дом, туда, где кончался порядок и начиналось ничьё. Жгучая крапива безжалостно хлестала по голым икрам, оставляя на коже тонкие белые полосы, которые потом неминуемо нальются саднящим красным — первый настоящий шрам этого дня, хотя ни один из них ещё не подозревал, сколько невидимых шрамов он им принесёт.

Ализир шёл впереди, не морщась и не сбавляя шага: он знал эту звериную тропу наизусть. Знал, где крапива особенно злая, и знал, что скрывается за ней — узкий пролом в старой каменной стене, широкий ровно настолько, чтобы протиснулся худой мальчишка, если хорошенько втянет живот. За проломом пахло иначе. Не розовыми кустами и не воском для паркета, а дождём, пролившимся на старое железо, въедливой ржавчиной, озоном и чем-то ещё, чему Ализир не знал точного названия, но что для него пахло чистой, неразбавленной свободой.

Он протиснулся первым, обернулся и протянул кузену руку. Альгор в нерешительности помедлил, нервным движением поправил очки и всё же ухватился за неё — ладонь у гения оказалась влажной и ледяной.

За стеной открывался другой мир.

Это была свалка.

Любой другой ребёнок из их круга увидел бы здесь лишь грязь, позор и антисанитарию, и поспешил бы обратно в спасительную тень дома, брезгливо отряхивая бархатные рукава. Но Ализир увидел дом. Он шагнул вперёд так легко, будто вернулся из долгого, утомительного изгнания, и на ходу, не глядя, поднимал с земли вещи, которые знал по именам. Вот латунная шестерёнка от массивных настенных часов, что годами пылились в кладовке и встали навсёгда; вот треснувшая стеклянная колба, в которой кто-то когда-то тщетно пытался вырастить кристалл; вот спутанный моток медной проволоки, ещё вполне годный, если набраться терпения и распрямить; вот хрупкий скелет музыкальной шкатулки, у которой безжалостно вынули сердце, но зачем-то оставили рёбра.

Он не собирал их — он с ними здоровался. Каждая вещь на этой свалке была сломанной, забракованной, и именно поэтому была абсолютно свободной. Её больше никто не заставлял быть тем, чем её задумали на фабрике, и теперь она могла стать чем угодно. Ализир инстинктивно любил эту ржавую свободу так, как не любил ничего в отцовском доме, где у каждого предмета, у каждого часа и у каждого сына был свой жесткий порядок, своё место и своя судьба, расписанная на десятилетия вперёд.

Альгор замер на самом краю, не ступая за незримую черту ни на шаг. Книга в его руках вжалась в грудь так отчаянно, что побелели костяшки пальцев. Узкие плечи ссутулились ещё сильнее, и он смотрел на свалку так, как смотрят на открытый перелом — с тем особым, тошнотворным ужасом, в котором острая жалость смешана с непреодолимым желанием немедленно отвернуться и уйти. Его внутренний мир — вселенная выверенных формул, гладких траекторий и аккуратных аксиом, где у каждой вещи была своя железобетонная причина — на полном ходу столкнулся здесь с тем, у чего не было ни места, ни причины, ни порядка вовсе. Это была чистая, первобытная энтропия. Он сделал неуверенные полшага назад.

И не ушёл.

Ализир заметил это не сразу. Сначала он увидел только напряжённую, застывшую спину и побелевшие пальцы на обложке книги. А потом — как эти самые пальцы, всё ещё сжимая кожу переплета, вдруг начали едва заметно, ритмично шевелиться. Будто перебирая в воздухе невидимые костяшки счетов, сортируя, прикидывая, раскладывая хаос на фракции. Альгор моргнул, и стёкла его очков на секунду запотели от сбившегося дыхания, но он не стал их протирать — он смотрел поверх них, неестественно широко раскрыв глаза.

И в этих глазах за толстыми линзами Ализир вдруг с потрясением увидел то, что видел каждое утро в зеркале, когда вскакивал с кровати, физически не в силах больше лежать: тот самый всепоглощающий голод, тот самый первобытный огонь. Только сам Ализир голодал до движения и действия, а Альгор, как оказалось, голодал до *понимания*. И сейчас перед ним лежал целый, нетронутый мир, разобранный на винтики, который можно было пересобрать и понять заново, с абсолютного нуля, без чужих скучных аксиом.

Ализир нагнулся и поднял с вытопанной земли изогнутый кусок латуни, ещё хранивший тепло утреннего солнца. Задумчиво повертел его в исцарапанных пальцах. И сказал — наполовину в злую шутку, наполовину назло, но больше всего оттого, что ему самому было физически тошно смотреть, как брат стоит на краю и не решается сделать шаг в неизвестность:

— Ты за завтраком говорил, что хочешь стать изобретателем. Так изобрети что-нибудь. Прямо сейчас. Вот из этого.

Он сам прекрасно знал, как это прозвучало — как обидная подначка, как грубо брошенная перчатка, как последняя, отчаянная попытка расшевелить живого мертвеца, который весь день отвечал ему вежливыми расчётами чужих переломов. Ализир уже приготовился к тому, что Альгор поправит очки, монотонно скажет что-нибудь занудное про усталостную прочность латуни и трусливо уйдёт обратно за стену, к спасительному лимонаду и тикающим напольным часам.

Но Альгор не услышал подначки. Он услышал *вопрос* — первый за весь этот проклятый день, а может быть, и первый за всю его короткую, расписанную по учебникам жизнь, — который задавали не для того, чтобы проверить его память, и не для того, чтобы вежливо от него отделаться. Его спросили всерьёз: *сделай*.

Альгор посмотрел на изогнутую латунь в руке Ализира — и впервые за день посмотрел на материю не как на предмет с заранее известными, скучными свойствами, а как на *возможность*, у которой свойств ещё нет, потому что их только предстояло придать.

Он медленно снял очки. Протёр их краем рубашки, потому что накрахмаленный носовой платок остался в кармане пиджака, а пиджак он по дороге сюда расстегнул и почти сбросил с плеч. Водрузил очки обратно на нос, моргнул — и шагнул вперёд. За край. В самое сердце ржавого хаоса.

И в ту же секунду свалка перестала быть свалкой. Для Ализира она так и осталась романтической кучей лома, а для Альгора, который теперь смотрел на неё поверх протёртых линз, она мгновенно трансформировалась в самый большой и сложный конструктор в мире. Детали в нём уже начинали со щелчком складываться у него в голове, чертя невидимые схемы быстрее, чем он успевал называть их вслух.

— Так... — пробормотал Альгор.

Его голос внезапно потерял всю свою академическую, книжную сухость. Он стал быстрым, сбивчивым, хрипловатым, будто слова просто не поспевали за чертежами, которые молниеносно разворачивались в его голове.

— Если взять эту пружину от хронометра... вот эту, видишь, она ещё держит внутреннее натяжение... и через передачу соединить её с системой шестерён от той планетарной модели, у которой уцелело три колеса из пяти... то мы получим кинематический привод. Простой. Невероятно грубый. Но рабочий. Нам нужен корпус — максимально лёгкий, чтобы привод его вытянул... вот! Старая маслénка, у неё дно целое. А крылья... из чего сделать крылья?..

Он крутился на месте, поднимал грязную деталь, близоруко вертел её перед самыми глазами, отбрасывал, тут же хватал следующую. Ализир не успевал за ним даже взглядом — и через минуту перестал пытаться. Он не понимал, зачем часовой пружине нужны планетарные шестерни, и не стал в это вникать. Он увидел нечто куда более важное: его брат впервые за весь день не отвечал на чужой вопрос, а задавал их сам. Миру, мертвому железу, самому себе. И задавал их так жадно, что останавливать его или насмехаться было бы преступлением против самой природы.

И тогда Ализир Фокстроджент, который за всю свою жизнь не мог усидеть на месте дольше пяти минут, вдруг с удивлением обнаружил, что сидит на корточках в ржавой пыли уже бог знает сколько времени, и совершенно не хочет вставать. Он хочет только рыться, искать, подавать.

— Тебе нужен рычаг? — крикнул он, даже не дожидаясь ответа, потому что увидел, куда отчаянно метнулся взгляд Альгора, раньше, чем тот успел сформулировать мысль. Он с натугой выволок из груды обломков длинный, покрытый окалиной металлический стержень и сунул брату в руку. — А если корпус делать не из маслénки, а вот из этой пластины? Она лёгкая, смотри, она гнётся!

Альгор машинально взял стержень, оценивающе посмотрел на пластину, коротко кивнул — и даже не удивился, что брат принёс именно то, что было необходимо. За какой-то час работы он уже принял это как физический закон: стоило ему на секунду замереть, уткнувшись невидящим взглядом в нехватку детали, как рядом уже шуршало, скрежетало, и в его протянутую ладонь ложилось ровно то, чего не хватало.

Ализир стал физическим продолжением его взгляда. Там, где Альгор только ещё начал думать «*мне бы сейчас...*», Ализир уже это делал — рылся в завалах интуитивно, почти звериным нюхом находя нужное. А когда Альгору не хватало сил согнуть упрямый кусок тол-

стой проволоки, Ализир молча забирал его и гнул голыми руками, стиснув зубы, и жилы на его детских предплечьях вздувались так, будто он тянул швартовочный канат, а не медь. Один думал вперёд. Другой делал вперёд. Один был чистым разумом. Другой — неостановимым действием.

Они забыли про время. Про стынувший обед в парадной столовой. Про свои имена и про то, кем их велели быть сегодня утром. Два солнца проделали свой долгий путь по небу, и двойные тени под мальчишками менялись, как стрелки невидимых, гигантских часов. Утром они лежали врозь, длинные и чужие друг другу; в пылающий полдень обе съёжились под ноги и почти наложились одна на другую; а к вечеру снова вытянулись — но теперь уже не врозь, а рядом, плечом к плечу, потому что оба светила клонились к одному краю горизонта.

Лишь один раз Ализир краем глаза заметил движение у пролома в стене. Там лежал небольшой свёрток — хлеб, сыр, фляга с водой. Сара принесла его и тихо ушла, даже не окликнув. Она, как никто другой, умела понимать, когда брату необходимо быть не с ней, и умела охранять это таинство своим молчанием. Они не притронулись к свёртку ещё час — им было физически не до еды.

Их строгие аристократические костюмы пошли невыводимыми пятнами грязи и черного машинного масла, манжеты задрались, ткань на коленях побелела на сгибах и протёрлась. Руки у обоих были в сетке царапин — таких же тонких, как утренняя крапива, только теперь их были десятки, и они уже не жглись, а приятно, горячо стягивали кожу, как неоспоримое доказательство того, что этот день был настоящим.

На лице Ализира, перепачканном ржавчиной и копотью, сияла самая открытая, самая счастливая улыбка в его жизни. Лицо Альгора оставалось абсолютно серьёзным и сосредоточенным, но в глубине его глаз за стёклами очков горел теперь ровный, не детский огонь — тот самый, что Ализир уловил на краю свалки, только теперь разгоревшийся в полный, ревущий рост.

Они строили механическую птицу. Маленькое, неказистое существо из латуни, жести и часовых пружин, собранное на стёртых коленках из того, что весь остальной, правильный мир безжалостно выбросил. Это был их собор из ржавчины и мечты.

Когда багровый диск Тристана уже почти коснулся горизонта, заливая свалку цветом старой меди, работа была закончена. Птица, размером с кулак Ализира, гордо стояла на перевёрнутом дырявом ведре, нелепая и трогательная в последних косых лучах. Крылья ей пошли из рваных лоскутов жести, кое-как, вкривь и вкось приклепанных к корпусу-маслёнке. Вместо глаз по бокам торчали два разномастных болта, один заметно больше другого, и от этого она выглядела так, будто заговорщицки подмигивает кому-то одному, кого видит только она. Из вмятого бока торпорщился заводной ключик, погнутый под дурным, неестественным углом.

Она была объективно уродливой. Ужасающе неуклюжей. Совершенно невозможной с точки зрения аэродинамики.

И она была самой красивой вещью, которую Ализир когда-либо видел в своей жизни.

Наступила тишина. Густая, звенящая, такая, в которой слышно, как остывает нагретое за день железо. Весь мир, казалось, втянул вечерний воздух и затаил дыхание вместе с ними. Вся их изматывающая работа, все царапины на руках, весь этот прожитый назло правилам день — всё сузилось до этой одной секунды, до этого погнутого ключика.

Альгор сглотнул, протянул дрожащий от напряжения палец и повернул его. Раздался треск взводимой пружины — сухой, тугой, обещающий чудо.

И ничего не произошло.

Сердце Ализира ухнуло куда-то в живот, оставив после себя холодную, сосущую пустоту.

Вот и всё, значит. Чуда не случилось. Сказка кончилась, так толком и не начавшись, и всего пять секунд назад он был наивным глупцом, поверившим в невозможное. Он уже набрал в грудь побольше вечернего воздуха, чтобы сказать что-то злое, едкое и разочарованное —

такое, от чего этот хрупкий момент рассыплется в прах, и можно будет привычно вернуться к своей броне из скуки, сделав вид, что ничего на самом деле и не было.

Но Альгор вдруг поднял руку и прошептал одними губами:

— Подожди.

Он наклонился и легонько щёлкнул птицу по жестяной голове, будто подбадривая замершего перед прыжком пловца.

Внутри крошечного металлического тельца что-то зажужжало. Заскрипело. Зацепилось. Застрявшие шестерёнки пришли в движение — сначала неохотно, с натужным скрежетом, потом всё ровнее и увереннее. Птица конвульсивно дёрнулась раз, другой. Её рваные, нелепые крылья затрепетали — сначала медленно, неуверенно нащупывая воздух, потом всё быстрее и быстрее, взбивая над ведром плотное облачко ржавой пыли. Она подпрыгнула, опасно накрепилась на один болт-глаз, каким-то чудом поймала равновесие — и полетела.

Это был не величественный полёт орла. Это был полёт раненого воробья, который в пылу борьбы просто забыл, что он ранен. Она пролетела три метра, отчаянно и неуклюже молотя своими жестяными крыльями, описала в воздухе кривую, истеричную дугу, какую в здравом уме не нарисовал бы ни один инженерный чертёж, — и с весёлым, звонким лязгом рухнула в кучу старых кастрюль, где и затихла, испустив последний щелчок пружины.

Её полёт длился ровно пять секунд.

Но в эти пять секунд Ализир и Альгор увидели будущее. Не своё личное, не чьё-то чужое, а Будущее вообще — то самое, грандиозное и пугающее, которое ещё не случилось, но которое теперь уже нельзя было развидеть.

Они посмотрели друг на друга, и это были уже не двоюродные братья, которых заставили провести день вместе. Не высокомерный юный аристократ и не забитый книжный червь. Это были соратники. Заговорщики. Творцы, только что впервые в жизни поймавшие за хвост абсолютную невозможность.

Ализир смотрел на брата с чистым, незамутнённым восхищением — так, словно тот только что голыми, исцарапанными руками остановил вращение луны. И он вдруг понял одну самую главную вещь: пресловутая «странность» Альгора была не странностью вовсе, а Силой. Самой большой, грозной и созидательной из всех, что Ализир когда-либо видел.

А Альгор смотрел на Ализира, и в его взгляде было нечто совершенно новое, чего там не было и в помине ещё этим утром, — тихая, ошеломлённая уверенность. Он впервые увидел в шумном, поверхностном кузене не пустого избалованного авантюриста, а ту самую пробивную, кипящую энергию, которой ему самому всегда отчаянно не хватало, чтобы вытащить хрупкую мечту из головы наружу, в жестокий мир ржавчины, жести и скептиков.

— Мы... — выдохнул Ализир, и голос его дрожал так сильно, что слова едва держались вместе. — Мы построим что-то по-настоящему большое. Не из мусора. Из стали. До самых небес.

Альгор медленно снял очки. На этот раз он не стал их протирать — протирать было бессмысленно — и не стал надевать обратно. Он просто держал их в опущенной руке, смяв тонкие дужки, и смотрел на брата широко распахнутыми, близорукими, беззащитными глазами. В них не осталось ни спасительных стёкол, ни интеллектуальной брони, ни вежливых расчётов чужих переломов. В них была только ясность — абсолютная и серьёзная, как кровная клятва.

— Да, — сказал он просто. — Построим.

Они протянули друг другу руки — грязные, в ссадинах, перемазанные в старом машинном масле — и крепко, по-мужски пожали их над обломками своей первой общей сбывшейся мечты, над перевёрнутым дырявым ведром и притихшей в кастрюлях птицей. И в тот самый миг две длинные тени за их спинами, весь этот долгий день шедшие рядом плечом к плечу, на последней, угасающей полосе заката наконец-то наложились одна на другую. И стали одной.

Когда они пошли обратно к дому, небо уже стремительно густело тяжелым, бархатным синим цветом. У пролома в стене их молча ждала Сара. Она не стала спрашивать, что они там делали столько часов и почему вернулись такие перепачканные. Она просто взяла Ализира за руку, точно так же, как брала под столом за завтраком, и пошла рядом, и этого было более чем довольно. Их маленький треугольник, сам того не зная, намертво замкнулся.

А высоко над ними, на самом краю наступающей темноты, там, где кончался их уютный, понятный мир и начиналось ледяное чужое пространство, зажглась Синистра.

Далёкая, мертвенно-бледная звезда-пульсар мигала ровно и размеренно, будто отсчитывала что-то своё, скрытое от людей. Отец как-то сказал про неё, что она по-своему красива, да только совершенно не греет, а значит, она — не своя. Дети любили подолгу смотреть на неё, потому что казалось, будто она танцует в пустоте.

И её танец, если приглядеться очень внимательно, был не танцем вовсе, а медленным, безжалостным и бесконечно терпеливым обратным отсчётом.

Но этого не знал никто на планете. И меньше всех об этом подозревали те двое перемазанных сажей мальчишек, что шли сейчас под ней домой, уставшие, голодные и абсолютно счастливые, неся внутри себя огромный город, которого ещё не было.

В тот день на свалке на окраине старого поместья родилась не просто дружба.

В тот день родился Синтрициус.

Просто мир об этом ещё не знал.

Глава 1. Пари на краю света

Тринадцать лет спустя Мекрория пахла углём, горячим паром и той особой уверенностью, с какой живут люди, считающие, что завтрашний день обязан быть точной копией вчерашнего — разве что с чуть большей прибылью в графе напротив.

В «Клубе Основателей» окна были наглухо зашторены от двойного света Тристана и Изольды. Магнаты не любили живое небо: оно менялось, а они привыкли к тому, что не меняется. Здесь признавали только один свет — тусклое, надёжное золото газовых рожков, и он лежал на лицах ровным слоем, как лак на старой мебели. Воздух стоял неподвижно — сигарный дым висел столбами, потому что никто никогда не открывал форточку: форточка впускает ветер, а ветер приносит перемены. На кожаных диванах сидели люди, которые проложили рельсы через континенты и вырыли шахты в недрах гор; они владели настоящим целиком и не видели причин делиться будущим хоть с кем-то. Сюда, в нейтральную Мекрорию, они съезжались со всех пяти государств именно потому, что здесь ни один из них не был хозяином, а значит — ни один не мог схитрить: устав Клуба Основателей, скреплённый мекрорийским арбитражем, держал слово крепче любой короны, и пари, заключённое под этими сводами, исполнялось так же неумолимо, как приговор.

Для Альгора Никса этот зал был свалкой. Он узнавал её породу с полувзгляда — ту же, что в детстве за проломом в стене, только вывернутую наизнанку: там лом был свободен и ждал, чтобы стать чем-то новым, а здесь громоздились окостенелые догмы и чугунные привычки, отработавшие своё концепции, которые давно пора было сдать в переплавку, но которые вместо этого усадили в кресла и налили им коньяку.

Альгор стоял на дубовом подиуме и смотрел на них не мигая. Очков на нём больше не было: близорукость он вырезал скальпелем хирурга пару лет назад, в один приём, без колебаний, как вырезают то, что мешает видеть. Стекло ему больше не требовалось — ни на глазах, ни между ним и миром. Он держался прямо, так прямо, что по тому, как неподвижно и бледно лежали на краю подиума его пальцы, можно было прочесть, чего ему стоит эта прямизна. Взгляд он не отводил ни на магнатов, ни в зал — он смотрел чуть в сторону, на стол рядом с собой, где мерцала латунью и полированным деревом безупречная модель, и держался за неё глазами так же, как в детстве держался за книгу, когда ему было страшно. Только теперь он не прятался. Теперь он выступал.

— Поезда уперлись в предел физики, господа, — говорил Альгор, и голос его больше не дрожал, как дрожал когда-то над ржавым ведром; он звучал теперь с той спокойной, хирургической непререкаемостью, с какой скальпель входит в ткань. — Вы сжигаете тысячи тонн угля, чтобы сдвинуть с места тысячи тонн стали ради перевозки сотни пассажиров. Ваша экономика — это экономика трения. Я предлагаю вычесть трение из уравнения.

Он коснулся латунной капсулы на модели — кончиками пальцев, бережно, как касаются больного, которого пришли вылечить.

— Вакуумный тоннель. Электромагнитная катапульта. Снаряд, не касающийся стенок. От Мекрории до Ифисании не трое суток по морю, а три часа. Без угля, без дыма, без паровых котлов. Вагон «Пуля» — это не транспорт, господа. Это инъекция скорости прямо в кровеносную систему цивилизации.

Он замолчал. И в зале повисла тишина — не та, звенящая, полная веры, какая бывает после чуда, а тяжёлая, душная, какая бывает после приговора, который ещё не огласили, но все уже поняли. Магнаты молча разглядывали блестящую игрушку на столе, и кое-кто из них лениво поворачивал на пальце перстень, и где-то высоко над подиумом мерно тикали большие настенные часы — единственное в этом зале, что ещё отсчитывало время вперёд, а не стояло на месте.

Тишину разорвал скрип отодвигаемого кресла — тяжёлый, деревянный, как звук ломающейся балки. Барон Вульпин поднимался на ноги медленно, опираясь ладонями о подлокотники, и в этой медлительности была не важность, а вес: вес человека, который слишком много раз в жизни поднимался вот так, чтобы сказать «нет», и устал это делать. Лицо у него было как выветренная скала — не грозное, а стёртое годами ветров до такой ровности, что на нём уже не оставалось места для новых морщин, только для старых, вьёвшихся, как трещины в камне. На узловатых пальцах бриллиантовые перстни не могли скрыть мозоли — тёмные, плоские, вьёвшиеся в кожу намертво, память о тех далёких годах, когда он сам стоял у печей и держал молот, прежде чем молот стали держать на него.

— Инъекция, говорите, Никс? — голос Вульпина пошёл по залу низко, рокоча где-то под хрусталём люстр, и бокалы на столах отозвались тонким, тревожным звоном. Он не смеялся. Он говорил с той тяжёлой, почти отцовской усталостью, с какой объясняют ребёнку в сотый раз, почему нельзя совать руку в огонь. — Вы смотрите на свои чертежи, юноша, и видите чистые линии. Прямые векторы, красивые параболы, ноль трения. А я смотрю на те же чертежи — и вижу кровь.

Он тяжело оперся обеими руками о спинку кресла перед собой, и перстни блеснули в газовом свете — единственном свете этого зала, потому что окна здесь были наглухо зашторены от двойного неба, и под ровным золотом рожков у каждого лежала только одна тень, плоская и послушная, не та живая двойная тень, что падает на улице от Тристана и Изольды. Альгор, стоя на подиуме, чувствовал эту плоскость кож, как чувствуют фальшивую ноту: в мире, где у каждой вещи должно быть две тени — тёплая и холодная, прощающая и беспощадная, — этот зал выбрал себе одну, и эта одна была ложью, которую все договорились считать правдой.

— Чтобы проложить вашу вакуумную трубу через Пролив Бурь, — продолжал Вульпин, и голос его не повышался, отчего становилось только страшнее, — мне придётся послать на дно тысячи водолазов. Половина из них не поднимется. Чтобы запитать ваши магниты, мне придётся перестроить всю энергетику континента, а значит — остановить заводы, а значит — оставить без хлеба тех, кто эти заводы кормит. Вы говорите, что вычитаете трение, Никс. Но вместе с трением вы вычитаете людей. Мои железные дороги кормят два миллиона семей. Кочегары, путейцы, машинисты, их жёны, их дети, которые учатся на стипендию компании. Что они будут делать в вашем стерильном вакууме, где поезд летит сам, без рук? Голодать во имя прогресса?

Альгор нахмурился. Пальцы его, до того лежавшие на краю подиума бледно и неподвижно, теперь вцепились в полированное дерево модели — так же, как в детстве вцеплялись в кожаный переплёт книги, когда мир становился слишком громким. Опора не держала.

— Прогресс всегда требует перекалфикации, барон, — сказал он, и сам услышал, как слабо это прозвучало: тонкий, книжный голос против скалы, формула против двух миллионов имён. — Открыв новые скорости, мы создадим новые индустрии, новые рабочие места, которых сейчас нельзя даже вообразить...

— Мы создадим хаос! — оборвал его Вульпин, и в его глазах вспыхнул не гнев завистника, а искренний, защитный, почти отчаянный гнев человека, который видит, как кто-то по неведению поджигает чужой дом. — Вы гений, Альгор. Никто в этом зале не сомневается ни в глубине вашего ума, ни в чистоте ваших намерений. Но вы строите мир для формул, а мы строим мир для людей. Ваш снаряд — это красивая, блестящая смерть для нашей экономики и для тех, кто в ней живёт. Мы не дадим вам на это ни ломаного гроша. Не потому, что мы глупы или злы. А потому, что мы не позволим вам разрушить наш дом ради вашей лаборатории.

Он сел. И зал ответил ему не аплодисментами — аплодисменты были бы слишком лёгкими для того, что здесь происходило, — а гулом, низким и согласным, и в этом гуле Альгор, стоя на подиуме, вдруг увидел лица: увидел так отчётливо, что стало тошно, потому что про-

тив каждого из этих имён у него не нашлось бы ни одного аргумента, кроме тех, что уже прозвучали и не сработали. Вот лорд-судовладелец из Ифисании, чьи клиперы возят грузы через Океан Бурь по три недели и чья прибыль умрёт в тот день, когда «Пуля» долетит за три часа; он не кивал Вульпину, он просто перекачивал во рту коньяк и смотрел в стол, уже считая убытки. Вот хозяйка угольных копей Кесариона, чьи шахты кормят паровые магистрали континента и чьи акции обратятся в пыль, стоит углю стать ненужным; она сидела прямо, не шевелясь, как солдат на посту у обречённого знамени. Вот банкир Гранвалиоса, молчаливый, в фиолетовом сюртуке, — ему было всё равно, кто победит; ему важно было лишь то, что чужой гений, не подконтрольный Совету Учёных, пугает его больше любой войны. Они не были злодеями. Они были людьми, у которых под ногами горела земля их собственного мира, и Альгор только что предложил залить её бензином ради скорости, которой они не просили.

И весь этот гул сложился у него в ушах в один звук — лязг закрывающихся изнутри ворот крепости, которая увидела на горизонте чужое знамя и решила держать осаду до последнего человека, не разбирая, несёт ли чужак войну или спасение. Это был не отказ завистников, боящихся нового. Это был отказ тех, кому есть что терять, — и их правда была такой тяжёлой и такой человеческой, что против неё не работала ни одна формула. Альгор видел всё это ясно, как чертёж в разрезе — и именно поэтому молчал: против чертежа у него был ответ, а против горящих под ногами земель ответа не было.

Альгор стоял на подиуме и чувствовал, как его грандиозная стройка — та самая, что началась тринадцать лет назад над ржавым ведром, — рушится у него на глазах, не успев начаться, и рушится не от глупости слушателей, а от их правоты. Он подготовился к спорам о физике, о прочности, о параболических траекториях и усталостных нагрузках. Но физика здесь никого не интересовала. Здесь интересовались людьми, которых он в своих чертежах не нарисовал, потому что не умел их видеть — умел только считать. И впервые за очень долгое время он оказался один на один с чужой, непробиваемой, абсолютно справедливой правотой, против которой у него не было ни одного аргумента, кроме того самого голода до понимания, который здесь, в этом зале с одной тенью, был бесполезен.

Он стоял и молчал, и большие настенные часы над его головой тикали ровно и неумолимо, отсчитывая секунды его поражения.

И в этот самый миг, ровно между двумя сухими щелчками маятника, из бархатной полутени у дальних дверей раздался голос — спокойный, безукоризненно поставленный, такой, каким говорят люди, привыкшие, что зал замолкает сам, ещё до того, как они закончат фразу:

— Барон Вульпин. Как всегда, вы защищаете прошлое с таким благородным жаром, словно это единственное будущее, которое мы заслужили.

Все головы в зале разом повернулись, и сизый сигарный дым качнулся, потревоженный этим движением, будто сама комната вздохнула.

Ализир Фокстроджент не вошёл в зал — он в нём оказался, и гравитация помещения незаметно перетекла к нему, как перетекает вода к более глубокому месту. Костюм сидел на нём с такой пугающей безупречностью, будто был отлит по фигуре из жидкой тени, а походка оставалась лёгкой, скользящей, почти хищной. На переносице у него поблёскивала тонкая оправа червонного золота — изящная, дорогая, абсолютно не нужная его зрению, и именно поэтому она сидела на нём так естественно, как сидит на актёре грим, в который он уже врос.

Он неторопливо прошёл к подиуму — туда, куда человек без имени в реестре Основателей не поднялся бы никогда. Дверь в этот зал Ализиру открывала кровь Фокстроджентов, чьё имя стояло в списках ещё тогда, когда самого клуба не существовало; но кровь лишь впускала за порог — а право стоять здесь и говорить, право, чтобы этот зал не зевал, он заработал сам, сделками, после которых в клубных ведомостях напротив фамилий магнатов вставляли цифры с лишним нулём, и магнаты это помнили, даже когда делали вид, что забыли. Место же на подиуме Альгору открыл Ализир — как в детстве открыл ему пролом в каменной стене, — но

и Альгора впустили не как чужого: его имя уже год как стояло в инженерных рецензиях трёх государств, и клуб не мог не дать ему четверть часа, хотя и дал их с той снисходительной улыбкой, с какой взрослый слушает ребёнка, показывающего рисунок. Их впустили. Их выслушали. Им даже налили коньяку. Но за всеми этими жестами вежливости стояло одно тихое, непоколебимое убеждение зала: перед ним — мальчишки, какими бы гениальными они ни были, а мальчишкам не доверяют перестраивать мир, в котором у взрослых всё уже посчитано. И вот теперь Ализир встал плечом к плечу с братом и мягко, но уверенно накрыл своей ладонью побелевшие пальцы Альгора, всё ещё стискивавшие край латунной модели. Хватка у Ализира была горячей. Он ничего не сказал брату — словам здесь было бы тесно, — но в этом одном жесте Альгор прочёл всё, что ему было нужно: *я здесь. Дыши. Теперь держу я.*

Ализир поднял взгляд на Вульпина, и стёкла его очков поймали тусклый газовый свет двумя ровными бликами, за которыми нельзя было разобрать глаз.

— Вы говорите о людях, барон, и ваша забота делает вам честь, — голос Ализира заполнил зал до последнего тёмного угла, не повышаясь ни на полтона. — Вы боитесь, что наш вакуум оставит их без хлеба. Но вы забываете, что люди, которых вы так отчаянно опекаете, умеют не только есть. Они умеют мечтать. А вы смотрите на карту мира из окна этого клуба и видите лишь необъятные пространства, которые нужно веками усмирять кайлом и лопатой, — и не верите, что их можно сшить воедино за одно поколение.

Вульпин тяжело свёл седые брови, но промолчал. Ализир не оставил ему паузы.

— А мы с братом утверждаем обратное. Этот мир мал, барон. Настолько мал и тесен, что мы вдвоём обогнём его по кругу, полагаясь лишь на тот скрипучий, допотопный транспорт, который уже существует в вашей уютной парадигме, — и вернёмся в этот самый зал быстрее, чем высохнут чернила на вашем следующем квартальном отчёте.

По залу прокатился низкий, недоверчивый гул. Кто-то на задних рядах откровенно усмехнулся в бокал с коньяком.

— Я предлагаю пари, — сказал Ализир, и слова его упали в толпу тяжело, заставив гул захлебнуться. — Ровно девяносто мекропейских суток. Стартуем завтра на рассвете. Пройдём через Ифисанию, пересечём Океан Бурь и Великую Пустыню и вернёмся сюда. Без частных скоростных клиперов, без правительственных дирижаблей и военных эскортов. Покупая билеты в тех же кассах, что и ваши кочегары. Только мы, обычные маршруты и наш собственный ум.

— Мальчишество, — презрительно бросил кто-то из темноты. — Очередная столичная блажь. И что вы готовы поставить на кон, Фокстроджент? Свой лоск?

Ализир поднял свободную руку к лицу и медленно, почти лениво снял очки.

Сложил дужки — раздался тихий, сухой щелчок, и в зале вдруг стало видно его глаза: такие же резкие, такие же живые, как были за стёклами секунду назад, — только теперь без блика, без преграды, открытые и хищные. Стёкла ничего не исправляли и ничего не прятали от мира — они прятали его от мира, и теперь он решил, что прятаться больше незачем. Рядом с ним Альгор невольно дёрнул рукой к собственной переносице — туда, где очков уже пару лет не было — и отдёрнул: его пальцы вспомнили жест, которого он сам себе больше не позволял, и память эта оказалась сильнее воли.

— Если мы опоздаем хоть на один удар маятника, — произнёс Ализир, глядя теперь на Вульпина без всяких фильтров, глаза в глаза, — все чертежи моего брата, все его патенты и все концепции, которые он ещё даже не перенёс на бумагу, переходят к вашему синдикату. Безвозмездно и навсегда. Хороните их в архивах, переплавляйте, жгите — как угодно. Мы навсегда уйдём из индустрии.

Альгор вздрогнул так, словно ему между лопаток вогнали ледяной клин, и воздух вышел из лёгких коротким, беззвучным толчком.

Ализир только что положил на сукно не деньги и не статус. Он положил его, Альгора, разум — его бессонные ночи, его формулы, саму ту суть, ради которой он дышал. И сделал это легко, с блестящей улыбкой, обращённой к Вульпину, — и за всё это время, ни объявляя пари, ни ставя на кон чужую душу, брат ни разу не повернул к нему головы. Он снова шёл напролом, как шёл всегда, весело и наудачу, не глядя под ноги, — а под ногами у него на этот раз был Альгор. На секунду тому захотелось вырвать руку, крикнуть «нет», остановить это безумие. Но он стиснул челюсти до боли в суставах и промолчал — потому что без пробивной силы брата его гений так и сгнил бы в ящике стола, и эта правда держала его крепче любого ужаса. Что-то в нём тогда надломилось — тихо, без звука, как трескается изнутри стекло, — и он знал, что обратно уже не склеится.

— А если вы чудом успеете? — прищурился Вульпин. В глазах старого хищника, побитого штормами, вспыхнул неподдельный, опасный интерес: он увидел в этой сделке не просто способ публично осадить выскочек, а законный шанс запереть в самом глубоком сейфе искру, способную спалить его империю.

— Вы и ваши партнёры полностью финансируете пилотный проект «Пули», — Ализир упёрся обеими ладонями в край стола, нависая над сидящим магнатом, — и передаёте нашему новому консорциуму полные, эксклюзивные права на разработку острова у побережья. Того самого клочка суши, который вы все считаете бесполезным камнем, потому что там нет ни угля, ни руды. Только песок и голая скала.

Альгор, стоявший рядом, едва заметно замер на слове «скала». Он-то помнил другое — отцовский палец на карте и брошенное мимоходом «там и так есть люди», — и помнил так отчётливо, будто отец сказал это вчера. Он промолчал и на этот раз: сейчас было не время. Но остров в его голове перестал быть пустым.

Зал замер.

Вульпин медленно поднялся. Бриллиантовые перстни на его пальцах тускло сверкнули в газовом свете, и он протянул через стол свою огромную, узловатую руку.

— Девяносто суток, Фокстроджент. До последнего удара вот этих часов. Пари принято.

Ализир перехватил его ладонь. Рукопожатие двух эпох было твёрдым и сухим, без пота и без дрожи. Ставки были сделаны, и большие настенные часы над подиумом, будто дождавшись своего часа, начали отсчитывать девяносто суток — ровно, неумолимо, уже не вперёд вообще, а вперёд к одному-единственному удару маятника, на который теперь была натянута вся их жизнь.

А далеко позади, в бархатной тени у двустворчатых дверей, почти сливаясь с тяжёлой портьерой, стояла Сара. Коньяка она не пила и в светских беседах не участвовала; её здесь попросту никто не замечал, и это было ей на руку. Она смотрела не на братьев — братьев она знала наизусть, — а на профиль Вульпина, и смотрела так внимательно, что, казалось, считывает его по слоям, как геолог читает керн. И она увидела то, чего не увидел никто: как после рукопожатия уголок губ барона дёрнулся — на долю миллиметра, почти незаметно, но для неё этого было больше чем достаточно. Старый магнат не собирался благородно просидеть девяносто дней в кожаном кресле, сложив руки. Он защищал свой дом, а на войне, как она хорошо знала, хороши любые средства.

Братья только что с пафосом объявили гонку со временем и уже мысленно мчались к рассвету. Но настоящая гонка, поняла Сара, поведётся не с часами, а с теми, кого Вульпин наймёт ещё до того, как остынет след от кареты у подъезда, — с саботажниками, подкупленными капитанами, подброшенными в багаж чужими билетами и прочей тихой дрянью, о которой гении даже не подумают, потому что гении смотрят вперёд, а не под ноги. Кто-то должен был прикрывать их слепые зоны. Потому что в этом мире никто не должен быть беспомощным — особенно двое гениальных идиотов, которых она любила той суровой, деятельной любовью, что не терпит лишних слов и не просит благодарности.

Сара бесшумно развернулась и растворилась в тёмных коридорах клуба, и портьера за ней сомкнулась, будто её и не было. Её собственный крестовый поход только что начался — и в нём, в отличие от братнина пари, не было ни зрителей, ни славы, ни права на ошибку.

Следующие сутки в поместье Фокстроджент не спал никто.

Библиотека, годами хранившая запах старой кожи, книжной пыли и академической тишины, к полуночи превратилась в осажденный штаб. Карты континентов лежали внахлест на дубовых столах, сползали на ковёр и лезли на стены. Расписания пакетботов и железнодорожных веток прищипливались прямо к корешкам бесценных фолиантов, а свежие метеорологические сводки о муссонах и песчаных бурях прибывали срочными телеграммами. Слуги бесшумно клали их на край стола и тут же исчезали за следующими. В самом эпицентре этого бумажного шторма находились двое, и каждый ожесточенно работал в своей стихии, не пересекая границ чужой.

Альгор не спал и, казалось, даже не моргал. Расколотый мир перестал быть для него набором экзотических стран и городов — он сжался до одной гигантской транспортной задачи. До монструозного уравнения с сотнями переменных, где каждая минута простоя равнялась критической ошибке, а каждая ошибка пахла окончательным поражением.

Он лихорадочно бормотал под нос водоизмещение судов и скорость океанских течений, чертил на карте маршрут жирной, уверенной линией, смотрел на него секунду, яростно перечёркивал и тянул новую — рискованнее, короче, злее. И перечёркивал снова, будто одним раздраженным движением графита стирал с лица планеты целые государства. Он не планировал туристический путь. Он вёл безжалостный блицкриг против самого физического расстояния.

И расстояние пока выигрывало по очкам.

Ализир, напротив, двигался медленно, экономно и пугающе спокойно — так двигаются люди, у которых внутри всё уже взвешено, решено, и осталось только сделать работу руками. Он не лез в расчёты брата: это была чужая территория, и он уважал её границы. Его война пахла иначе.

Два компактных саквояжа, и ни граммом больше. Лёгкая, но плотная ткань, способная выдержать и тропический ливень, и горный мороз. Медицинский набор, где каждая стеклянная ампула лежала в своём глухом, обитом войлоком гнезде, чтобы не разбиться от тряски. Свёрток инструментов для Альгора, уложенный с хирургической педантичностью — так, чтобы брат нашёл калибр нужного ключа вслепую, в абсолютной темноте, просто на ощупь.

И деньги. Много денег, в хрустящих купюрах дюжины разных государств. Ализир сам, вооружившись толстой иглой и суровой нитью, вшивал их в подкладку своего дорожного пальто потайным швом. Он шил методично, стежок за стежком, пробивая иглой плотную ткань, потому что кошельки крадут в первом же порту, а подкладку срывают только с мертвецов.

Он не планировал маршрут. Он планировал физическое выживание — своё и брата — на все девяносто суток вперёд, которых у них, если верить загнанному бормотанию Альгора, могло попросту не хватить.

Отец стоял в дверях.

Он находился там, должно быть, уже целый час — Ализир не слышал, как он вошёл, и не обернулся, потому что точно знал: отец не переступит порог в этот хаос и не сядет за этот изрезанный картами стол. Глава рода Фокстроджент категорически не одобрял пари. Он считал его мальчишеской, суицидальной выходкой, недостойной древнего имени, которое носили сами камни этого дома.

Его неодобрение висело в воздухе библиотеки тяжёлым, осязаемым слоем, как сигарный дым в Клубе Основателей, только гораздо холоднее. Он не кричал, не запрещал, не читал гневных нотаций. Он просто застыл в дверях неподвижным монументом, и одной массы его присутствия хватало, чтобы воздух в комнате стал разрезанным и строгим.

Но он и не ушёл. Он стоял и молча смотрел, как его младший сын ожесточенно вшивает чужие банкноты в подкладку, а старший в лихорадке перечёркивает континенты. И в этом долгом, тяжелом стоянии было нечто, чему Ализир не умел подобрать названия, но безошибочно чувствовал лопатками: отец не остановит их. Не потому, что ему всё равно. А потому, что слово, публично данное Фокстроджентом в зале, — это абсолютный закон, даже если само слово оказалось глупым. В этом доме закон всегда был старше любви и старше страха.

Наконец отец шагнул вперёд. Один мерный, тяжелый шаг, не больше.

Он молча поставил на самый край стола, вплотную к локтю Ализира, крошечный бумажный свёрток. Марципаны. Те самые любимые марципаны, которые он умел незаметно пододвигать сыну за утренним завтраком вместо всех тех теплых слов, которых просто не умел произносить.

Отец не посмотрел на Ализира. Не бросил взгляда на исполосанные карандашом карты. Он развернулся с военной чёткостью и пошёл обратно в коридор. И уже на самом пороге, не оборачиваясь, бросил через плечо ровно одну фразу. Она прозвучала сухо и тяжело, как удар кузнечного молота по остывшей наковальне:

— Ты дал слово в том зале. Фокстроджент слово держит. Даже глупое.

Он ушёл, и тяжелая дверь за ним закрылась с тихим, окончательным щелчком. Ализир замер с занесённой иглой, внезапно осознав: это было и суровым приговором, и единственно возможным благословением одновременно. Другого напутствия от этого человека он бы не получил, да и не хотел получать.

Ализир отложил иглу, взял свёрток и бережно сунул марципаны в карман, поверх зашитых денег. На самый крайний случай. На тот чёрный день, когда кончится всё остальное — и деньги, и удача, и надежда.

Сара пришла на рассвете.

Она не постучала и не спросила позволения войти — она просто появилась в библиотеке, как появлялась всегда, неслышная и неизбежная. Подойдя к столу, она молча сдвинула в сторону кипу метеорологических сводок и положила на расчищенный пятачок дерева два предмета.

Первый был небольшим, но угловатым и тяжёлым: массивный сигнальный револьвер с набором цветных ракет в потёртом кожаном подсумке.

— Красный — если вы при смерти, — сказала она ровным, ледяным голосом, каким зачитывают фабричные инструкции, и от этой деловитости Ализиру стало страшнее, чем от любого крика. — Зелёный — если вам просто очень-очень нужна помощь, но вы ещё в состоянии держать оружие. Не перепутай. В дыму и в панике цвета путаются первыми.

Второй предмет оказался совсем крошечным. Изящный, инкрустированный перламутром дамский дерринджер, который лёг ей на узкую ладонь, как дорогая брошь. Она протянула его Ализиру.

— А это на тот случай, если помощь не успеет, — Сара смотрела ему прямо в глаза, не моргая. — В мире есть вещи похуже смерти, братец. И я не хочу, чтобы ты встретился с ними безоружным.

Ализир взял пистолет. Он обжигал холодом и был невыносимо тяжёлым — не весом стали, а тем финальным, бесповоротным смыслом, который он в себе нёс. Ализир физически почувствовал, как под этим весом его выверенная осанка просела на один незаметный градус, будто ему на плечи легла невидимая рука и придавила к земле. Он молча кивнул и спрятал дерринджер глубоко во внутренний карман, туда же, где таились вшитые в подкладку деньги. Чтобы лежал у самого сердца, как-то последнее слово, которое говорят, когда все остальные аргументы уже исчерпаны.

Сара смотрела на них обоих, и в её взгляде не было ни женской сентиментальности, ни сестринского страха. В нём был голый, холодный расчёт. Она видела перед собой не двух эпи-

ческих героев, отправляющихся на великий подвиг; она видела двух гениальных идиотов, которые смотрят исключительно за горизонт и никогда — себе под ноги. И которым кто-то обязан прикрывать спину, пока они не оглянулись и не погибли от собственной ослепительной правоты.

Её любовь к брату в это туманное утро не имела ничего общего с мягкой нежностью. Она была яростью телохранителя — тихой, прагматичной и безжалостной. Той самой любовью, что не плачет над раненым, а сначала намертво перетягивает ему жгутом хлещущую артерию, и только потом, в одиночестве, позволяет себе дрожать.

Рядом с револьвером на столе лежала её собственная потрёпанная тетрадка. Та самая, в которую она в детстве методично додумывала продолжения его игр на ковре. Сара взяла её и молча сунула в дорожную сумку Ализира, прямо поверх подсумка с ракетами. Выдумки и реальная война поехали в одной сумке, потому что у Сары, как внезапно осознал Ализир, никогда и не было иного оружия, кроме этого: умения досочинять мир там, где он трещит по швам, и умения стоять в этом разрыве собой.

Перед самым выходом она подошла к Ализиру вплотную. Привычным, коротким движением одёрнула ему воротник рубашки, сбившийся за бессонную ночь, и застегнула верхнюю пуговицу, про которую он вечно забывал.

Ализир замер. Руки Сары делали это в точности так, как делали когда-то руки матери — с тем же самым углом наклона запястья, с тем же самым, едва заметным рывком ткани в самом конце. И в эту неуловимую секунду он вдруг с пугающей ясностью понял: мамы в этом доме больше нет. Есть Сара, которая незаметно заняла её место во всех этих крошечных бытовых ритуалах, и заняла так давно, что он попросту перестал это замечать, как перестают замечать кислород.

Он ничего не сказал. Сара тоже промолчала. Она просто поправила ему ещё и правый манжет, отступила на шаг, и этого было более чем довольно. Они оба помнили одну и ту же тёплую руку, и им не нужны были слова, чтобы помнить её вместе.

Они вышли из сумрака библиотеки втроём и остановились в парадном холле. В высокие арочные окна уже лился рассвет — двойной, как и всегда на Расколе, потому что оба солнца поднимались над горизонтом разом. От каждого из троих по стылому мраморному полу легли по две тени: тёплая и холодная, размытая и бритвенно-резкая.

Но в этот раз тени не сливались, как слились когда-то на свалке за спинами двух восторженных мальчишек. Братья стояли плечом к плечу, и их четыре тени синхронно тянулись в одну сторону, к массивной выходной двери. А две тени Сары ломались в другую — вглубь затихающего дома, туда, где начинался её собственный, невидимый путь следом за ними.

Их нерушимый треугольник расходился, чтобы держать фронт и тыл. Свет, падавший на них, был один и тот же, но дороги теперь были разными. В этом безмолвном расхождении теней по мрамору было что-то от самого их мира, расколотого надвое, но всё ещё отчаянно держащегося на одном, общем свете.

Никто из троих не произнёс вслух ни слова о реальной опасности. О наёмниках, о саботажниках, о том, что барон Вульпин не станет благородно ждать девяносто дней сложа руки. Все трое это знали, и их молчание было единственным доступным способом не сглазить, не напугать друг друга и не дать страху сесть за один стол вместе с марципанами и сигнальными ракетами.

Ализир взялся за тяжелую медную ручку двери. За ней уже глухо гудел просыпающийся порт, и в щель тянуло углём, солью и абсолютным началом.

— Девяносто суток, — сказал он тихо, не оборачиваясь.

— Девяносто суток, — эхом отозвался Альгор за его спиной.

Сара промолчала. Она просто кивнула — едва заметно, тем самым взглядом стратега, который уже видит грядущее поле боя целиком, — и осталась стоять на пороге, пока две пары мужских теней не вышли за дверь и не растворились в слепящем утреннем свете.

Её собственные две тени легли поперёк пустого холла, длинные, строгие и абсолютно одинокие. Сара смотрела братьям вслед так, будто фотографировала, намертво впечатывала в память каждую линию их силуэтов. На будущее.

На тот неизбежный случай, если ей придётся идти по этим самым теням, как по кровавому следу, чтобы вернуть их домой.

Порт Мекрории гудел, как растревоженный, исполинский улей — и этот вибрирующий гул был первым, что ударило в них, едва они ступили из кареты на брусчатку причала.

В лицо швырнуло густым, почти осязаемым варевом из запахов: угольная гарь, едкая морская соль, потрошёная рыба и горячее машинное масло. Для портовых грузчиков это был повседневный смрад тяжёлой, потной работы, стирающей людей в пыль. Но для Ализира это был тот самый запах первобытной свободы, что впервые встретил его в детстве за проломом в каменной стене. Только там свобода пахла ржавчиной и сухим озоном, а здесь — солью и дымом. Но порода у этой свободы была одна, общая, и он узнал её мгновенно, всей кожей, как узнают старого, верного друга по одним лишь шагам за дверью.

У причала, намертво привязанная к кнехтам толстыми пеньковыми канатами, стояла их первая ступень. Почтовый пакетбот «Гесперида» — старое, потрёпанное штормами судно с облупленной краской на бортах и густой копотью на трубах. Оно ценило тяжёлую надёжность куда выше франтовской скорости, и потому шло медленно, но неотвратно. Медленное, верное начало — другого они у судьбы и не просили.

На причале собралась толпа, и толпа эта была далеко не случайной.

Стайка репортёров из трёх столичных газет ожесточенно строчила в блокнотах, даже не поднимая глаз. Они уже сейчас деловито делили будущую сенсацию пополам, балансируя между величайшим триумфом и грандиознейшим провалом, потому что золотая середина их не кормила.

А чуть поодаль, выстроившись неровным полукругом, стояли те, кто пришёл не писать, а смотреть. Смотреть, как уезжают их должники. Они стояли так, как стоят безжалостные кредиторы у дверей разорившегося дома: вежливо, молча и не мигая.

Барон Вульпин был с ними, но держался не в самом центре, а чуть в стороне. Он тяжело сложил руки на серебряном набалдашнике трости, которой в клубе при нём не было — очевидно, принёс специально для этого утра, для опоры на пронизывающем ветру и для внушительности позы. Он не улюлюкал вслед и не смеялся громче других. Он смотрел на братьев с той тяжелой, почти отцовской усталостью, с какой смотрят на людей, которых сам же и отправил на верную гибель, зная, что это не по-рыцарски, но твердо выбрав защиту собственного дома.

Рядом с ним ухмылялся в густые усы судовладелец из Ифисании — тот самый, что в клубном зале вальяжно перекачивал во рту коньяк, размышляя над чужими убытками. Суровая угольщица из Кесариона держалась идеально прямо даже на пронизывающем ветру, будто и здесь, на пропахшем рыбой причале, стояла в почетном карауле у обречённого полкового знамени. А тучный банкир в фиолетовом сюртуке не смотрел ни на братьев, ни на коллег — он смотрел в серое море, уже в уме калькулируя, во что именно обойдётся ему этот отъезд, если вдруг — вопреки всем законам логики — он *не* обойдётся.

Синдикат старого мира явился на причал в полном составе. Они пришли сюда как на похороны, которые сами же и оплатили.

Они просто хотели своими глазами увидеть, как захлопнется крышка.

Ализир Фокстроджент играл свою роль с пугающим великолепием. Очки, которых не было на нём с той самой напряженной минуты в клубе, снова сидели на переносице — тонкие,

золотые, фальшивые. Причал был всего лишь ещё одной сценой, а на сцене Ализир всегда находился в костюме, застёгнутом до последнего стежка.

Он ослепительно улыбался толпе, изящно махал рукой, на ходу отпускал репортёрам хлесткие шутки, от которых те начинали строчить в блокнотах с удвоенной яростью. Он выглядел не как безумец, только что поставивший на кон гениальный разум собственного брата, а как беззаботный столичный аристократ, отправляющийся в приятный морской круиз с бокалом шампанского в руке.

Но под безупречным сюртуком, у самых рёбер, ледяным слитком лежал дерринджер Сары. Маленький, тяжелый якорь настоящей цены, о которой репортёрская толпа не знала и не должна была узнать. Ализир чувствовал этот обжигающий холод сквозь плотную подкладку каждый раз, когда поднимал руку в приветствии. И именно этот холод мертвой хваткой держал его улыбку ровно там, где ей сейчас полагалось быть: на губах, не позволяя ей подняться выше и коснуться глаз.

Альгор стоял на шаг позади и до побелевших костяшек сжимал в руках тяжелый кожаный саквояж с чертежами и инструментами. Сжимал в точности так же, как в детстве отчаянно прижимал к груди книгу, а вчера в клубе — край латунной модели. Он по-прежнему рефлекторно цеплялся за предмет, когда внешний мир становился слишком громким, слишком открытым и враждебным. Только теперь это была уже не доска тонущего и не точка опоры для оратора. Это был ящик с тем, чем он собирался *работать*. И в этой незаметной перемене, если бы в толпе нашёлся хоть кто-то, умеющий читать души, безошибочно угадывался тихий, упрямый рост.

Альгор физически ненавидел толпу, неконтролируемый шум и неопределённость. Он фанатично верил в свои математические расчёты, но совершенно не верил в мир, который вечно вносил в эти расчёты свои грубые, хаотичные поправки. Сейчас этот непредсказуемый мир гудел со всех сторон, наваливался запахами и криками, и Альгор бледнел под двойным светом Тристана и Изольды так, будто его вот-вот стошнит прямо на просмоленные доски палубы.

Но он заставил себя поднять взгляд на брата. На эту безупречную, лживую улыбку, на золотой блик в пустых стёклах очков. И он увидел её насквозь — так же ясно, как видел насквозь хитросплетения своей латунной модели на подиуме. Альгор точно знал, чего этот спектакль стоит Ализиру и какой ледяной ужас прячется под ним. И от этого кристального знания младший брат внезапно почувствовал, что держится на ногах крепче, чем от любого корабельного поручня.

Они ступили на деревянный трап.

— Не волнуйся, — прошептал Ализир, не поворачивая головы, чтобы улыбка не дрогнула и жадная толпа ничего не прочла по его губам. — Первый шаг всегда самый трудный. Дальше всё пойдёт по твоему плану.

— План — это лишь теоретическая модель, — пробормотал в ответ Альгор. В этой сухой, академической формулировке он искал сейчас привычную опору, как ищут баланс в сильную качку. — А реальность имеет обыкновение отклоняться от теории. Иногда — фатально.

— Значит, будем отклоняться вместе с ней, — бросил Ализир так легко, будто это было самым простым делом на свете. И сам в это почти поверил. Почти, но не совсем.

Но этого жалкого «почти» ему хватило, чтобы расправить плечи и пойти по трапу вверх первым.

Они поднялись по скрипучему деревянному трапу, и у самой его вершины, где ступени обрывались в бортовой проём «Геспериды», Ализир на мгновение застыл.

Он обвёл взглядом бушующий причал — мимо всплесков блокнотов и репортёрской суматохи, мимо неподвижного, тяжёлого строя магнатов — и посмотрел дальше, туда, где за спинами толпы вырастал глухой лабиринт портовых пакгаузов. Он искал одно конкретное лицо. И нашёл его именно там, где оно всегда оказывалось: вне зоны чужого внимания, в стороне, в серой тени.

Далеко, в узком проходе между кирпичной стеной склада и горами спрессованного хлопка, стояла Сара.

Она не махала платком и не улыбалась. Она стояла статичной, собранной фигурой, заложив руки за спину — так стоит часовой, уже заступивший на бессменную вахту, который не покинет свой пост, пока его не вынесут на щите. И по запылённому брусчатому камню причала от её каблуков лежали две чёткие тени: обе они тянулись не к городу и не назад, в безопасность, а прямо в сторону удаляющегося трапа, будто её невидимый дубликат уже шагнул вперёд и молча пошёл по пятам за братьями.

Когда их взгляды пересеклись сквозь плотную толпу, суматоху и угольный дым, Сара едва заметно кивнула. Ализир не стал искать в этом скупом жесте сентиментальных пожеланий «доброго пути». Он прочёл в нём единственную оперативную сводку, которая им сейчас была нужна, то самое обещание без слов, какое они умели давать друг другу с детства: *я здесь, я вижу, я прикрываю спину*.

Как именно она собиралась незаметно следовать за ними через континенты, океаны и чужие чугунные границы — оставалось её собственной военной тайной. Но по её непреклонной осанке, по спокойному наклону головы Ализир понял: она уже просчитала траекторию их перехвата на десять ходов вперёд.

Он кивнул в ответ — так же коротко, одним сжатым движением подбородка. Этого было довольно. Им не требовалось рвать голос, перекрикивая порт, чтобы держать свой треугольник незримых клятв намертво замкнутым.

И в эту же секунду воздух над причалом разорвал прощальный гудок «Геспериды» — густой, утробно-низкий, тоскливый, как долгое дыхание зверя, который уходит в шторм и точно знает, что обратно вернуться не все.

Пароход тяжело вздрогнул от самого киля до крон мачт. Толстые швартовые канаты с сухим треском отделились от кнехтов и рухнули в мутную воду тяжёлыми, мокрыми змеями. Судно медленно, с протестующим скрежетом старых чугунных суставов и натугой котлов, отвалило от причала.

Плотный береговой мир Мекрории поплыл назад — вместе со всей их прошлой, уютно расписанной жизнью, с тяжёлыми креслами клуба, с горьким марципаном отцовского долга и маминым призрачным жестом на застёгнутом воротнике.

Ализир и Альгор стояли у облупленного леера палубы и молча смотрели, как удаляется и оседает в портовом дыму их родной город. И в тот самый миг, словно бас парохода послужил выстрелом стартовой ракеты, девяносто суток пошли по-настоящему.

Не на бумаге. Не в роскошном зале клуба под мерное тиканье маятника. А здесь — в горьком солёном ветре, в первой дрожи бортовой качки, под перекрёстным светом Тристана и Изольды.

У каждой корабельной мачты на вымытые доски палубы легло по две острые тени. И обе они теперь бескомпромиссно тянулись в одну сторону — вперёд, в слепую неизвестность, которая уже жадно начала отсчитывать их жизни по минутам.

Пари началось. Часы пошли.

Глава 2. Внеплановая остановка

Первые три дня плавания обернулись идиллией — и именно это сводило Альгора с ума.

Погода стояла издевательски безупречная, какую рисуют на лубочных открытках для тех, кто никогда в жизни не покидал суши: небо без единого облака, вода гладкая, как пролитое на стол масло, а попутный ветер дул с такой ровной силой, будто кто-то заботливо подкрутил его вентиль под их личное расписание.

Альгор, переборов приступы морской болезни ко второму утру, забаррикадировался в каюте. Он разложил свои карты и с головой погрузился в расчёты следующих этапов пути. И расчёты сходились пугающе идеально — каждая пересадка, каждый стык парохода с поездом, каждый запасной маршрут на случай шторма ложился в логическую матрицу без единого зазора.

Ализир тем временем курсировал по прогулочным палубам и курительным салонам. Ослепительно улыбаясь сквозь золотую оправу фальшивых очков, он вёл с попутчиками те самые праздные светские беседы, из которых умел выцеживать чистую стратегию лучше, чем из любых правительственных газет. Он узнавал, где именно в Ифисании таможня задерживает грузы, какой пролив закрыт на дноуглубительные работы, и в каком конкретно порту капитаны берут взятки за лишний час стоянки у пирса. Он собирал изнанку мира по крошкам, и эти крошки складывались в подробную карту уязвимостей, которой не существовало ни в одном официальном атласе.

Всё шло по графику. Слишком ровно по графику.

Именно это безукоризненное течение экспедиции и держало Альгора в состоянии холодного, звенящего напряжения, о котором он брату благоразумно не говорил. Он сам же сказал на причале, что реальность имеет обыкновение отклоняться от теории — иногда фатально. Он верил в это так же твердо, как в закон всемирного тяготения: живой мир всегда вносит свою поправку, всегда подсовывает случайную задержку, усталость металла, чужую глупость или непредвиденный шквал.

Но здесь поправки не было. Три дня идеального хода, три дня идеального неба, три дня, за которые не случилось ровным счётом ничего непредусмотренного.

И чем идеальнее шло плавание, тем сильнее Альгор внутренне сжимался в ожидании удара. В его физической картине мира, где у каждого следствия была причина, абсолютное отсутствие отклонений являлось самым пугающим отклонением из всех. Это противоречило законам термодинамики. Это означало лишь одно: затишье искусственно, и катастрофа просто копит энтропию для одного сокрушительного выпада.

Он не умел сказать, откуда именно придёт напоминание о реальности, — но он уже перестал спать по ночам. Альгор лежал в темноте каюты, напряженно прислушиваясь к мерному стуку паровой машины за стальной переборкой так, как прислушиваются к сердцу тяжелобольного, которое бьётся подозрительно правильно.

На рассвете четвёртого дня энтропия нанесла удар.

Машина замолчала.

Она не сбавила ход, не зачихала натужно, не застучала изношенными поршнями — она умерла разом и начисто. И в этой внезапной, ватной тишине, обрушившейся на судно после трёх суток железного сердцебиения, было нечто оглушительное. Будто из мира одним рывком выдернули сам звук.

Ализир открыл глаза в ту же секунду, что и Альгор. Взгляды братьев встретились в полумраке каюты. Оба не спали по-настоящему, оба ждали этого момента, — и оба выскочили на палубу, не сговариваясь и не тратя времени на слова.

«Гесперида» застыла мертвым грузом посреди океана, гладкого, как гигантское зеркало, в которое кто-то забыл плеснуть рябь. Вокруг, насколько хватало глаз, не было ни клочка спасительной земли, ни дымка чужой трубы, ни паруса — только мертвая вода, необъятное небо и два солнца, Тристан и Изольда. Они равнодушно поднимались над горизонтом, всем своим видом показывая, что космосу нет абсолютно расчётного дела до человеческих расписаний.

На капитанском мостике старый морской волк с лицом, выдубленным солью и ветрами до состояния жесткой кожи, виновато разводил руками перед собравшимися пассажирами. Он говорил ровным, усталым голосом человека, который слишком много раз в своей жизни объяснял сухопутным людям, что море никогда не сверяется с их билетами.

— Лопнул главный приводной вал, — донесли до братьев обрывки фраз, когда они протиснулись ближе. — Треснул по всей длине. Такого не бывало за тридцать лет моей службы. Сварить его в открытом море нечем и некому. До ближайшего порта ходу трое суток — и это под парусом, если ветер смиловится. А он пока не собирается. Мы легли в дрейф.

Пассажиры возмущенно зашумели — кто испуганно, кто раздражённо. Кто-то уже потрясал кулаками и требовал судовладельца к ответу. Но этот шум был поверхностным шумом людей, у которых всего лишь сорвалась неделя отпуска или выгодная коммерческая встреча. Для них это была досадная поломка, бытовая задержка, байка, которую они будут со смехом рассказывать за званым ужином.

Для Ализира и Альгора это была казнь.

Каждый час слепого дрейфа безжалостно сжирал их девяносто суток. Съедал то самое хрупкое преимущество, которого у них и так не было в запасе. Через день или два такого бессмысленного стояния они отстанут от графика безнадежно, и великое пари, даже не успев начаться по-настоящему, будет с позором проиграно в открытом море. В абсолютной тишине, без единого врага на горизонте — просто потому, что лопнула старая железка. Настенных клубных часов на палубе не было, но Альгор физически ощущал их мерное тиканье у себя под рёбрами. И теперь они отсчитывали не морские узлы, а минуты их абсолютного поражения.

Но Альгор не стал тратить время на панику толпы. Он круто развернулся и решительно зашагал к крутому трапу, ведущему вниз, в машинное отделение. Ализир немедленно последовал за ним — не потому, что хоть что-то понимал в судовых машинах, а потому, что точно знал: сейчас брату понадобится кто-то, кто будет говорить с несговорчивыми людьми, пока сам брат будет говорить с мертвым железом.

Машинное отделение ударило им в лица удушающей жарой, шипением остывающего пара и едким запахом раскалённого мазута — таким густым, что от него мгновенно запершило в горле и заслезились глаза. Главный инженер, по локти в въевшейся чёрной смазке, даже не обернулся на вошедших. На его лице застыло мрачное выражение человека, который только что вынужденно поставил крест на чьей-то надежде. Он стоял над раскрытым стальным кожухом и смотрел на треснувший вал так, как смотрят на покойника, которого уже бессмысленно реанимировать.

— Вал лопнул по всей длине, — сказал он, не поднимая головы, услышав шаги. — Сварить в море нечем, электродуги тут нет и не предвидится. Запасного валика на такие корыта не возят, потому что никто в здравом уме не ждёт, что эта болванка лопнет. Нам остаётся только болтаться в дрейфе и молиться всем богам, чтобы нас подобрал кто-нибудь попутный. Если в этот сезон тут вообще кто-то ходит.

Альгор не ответил на эту эпитафию. Он шагнул прямо к раскрытому кожуху, не обращая внимания на жар, и низко склонился над сломанным механизмом.

И Ализир, стоявший у него за спиной, вдруг увидел то самое, что много лет назад видел на краю свалки за проломом в каменной стене. Тот же неистовый, аналитический голод в глазах. Тот же огонь, упрямо разгорающийся там, где у всех остальных была только паника или бессильная усталость.

Альгор смотрел на лопнувший многотонный вал не как на грудку мёртвого железа. Не как на подписанный приговор. Он смотрел на него как на *головоломку*. Как на ту самую породу хаоса, которую он с детства умел разбирать на составляющие и собирать заново. Только теперь этот хаос был раскалённым, вонючим и размером с корабельное нутро, а не с кулак.

Альгор больше не искал, за что ухватиться от страха — его руки уже были заняты делом. И в этом заключалась тихая, фундаментальная перемена.

Тот вечно тонущий мальчик, судорожно цеплявшийся за книгу, за латунную модель, за кожаный саквояж — здесь, на дне остановившегося корабля, больше не тонул.

Он работал.

— Дрейфовать мы не будем, — сказал Альгор ровно, и его голос в гулком, парном нутре остановившейся машины прозвучал неожиданно твёрдо.

Он обходил повреждённый узел медленным, сканирующим взглядом, высчитывая в уме что-то своё. Его выпачканные мазутом пальцы быстро шевелились в воздухе, перебирая невидимые детали точно так же, как перебирали когда-то над ржавой грудой металлолома.

— Капитан, мне нужны все медные трубы, какие только есть на корабле, и вся медная проволока из ремонтных запасов. И самые сильные матросы, какие найдутся, чтобы вращать якорную лебёдку вручную. Строго по моей команде, в едином темпе.

Главный инженер наконец обернулся и посмотрел на него так, как смотрят на буйного сумасшедшего, которого просто жалко будить. Капитан, спустившийся по трапу следом за братьями, тяжело остановился в дверях и скрестил руки на груди.

— Что вы собираетесь делать, юноша? — спросил инженер без всякой злобы, с той усталой, пудовой снисходительностью, с какой старик объясняет ребёнку, почему нельзя починить треснувшее небо. — Собрать из этого музыкальный инструмент? Вал лопнул. Эта болванка весит тонны, её невозможно склеить проволокой, вы это понимаете?

Очков на Ализире уже не было. Он сбросил их в карман ещё у трапа, спускаясь в гарь и в чужой пот. Фальшивое золото сюда не надевают, а здесь, на дне трюма, ему было некого и незачем обманывать: ни экипаж, ни самого себя.

Встав между братом и двумя недоверчивыми взрослыми, Ализир вдруг поймал себя на том, что знает эту позу наизусть. Знает, как правильно держать спину, чтобы голос не дрогнул. Знает этот специфический запах снисходительного чужого *«вы не понимаете, мальчик»*. Знает, как встать глухой стеной там, где брату жизненно необходимо дать шагнуть вперёд. И не потому, что его этому специально учили, а потому, что он вставал так всякий раз, когда миру хотелось сказать Альгору «нет». Он не стал вспоминать, где именно стоял так раньше, — тело само помнило за него.

— Господа, — сказал Ализир своим самым глубоким, спокойным голосом — тем самым, которым в элитном клубе заполнял зал до последнего угла. И здесь, среди шипящего пара и мазута, этот голос прозвучал ещё убедительнее, потому что ему больше не нужны были ни лепнина, ни газовые рожки для авторитета. — Мой брат — лучший инженер Мекрории. И если он говорит, что заставит эту посудину двигаться, значит, он её заставит. Я не прошу вас верить в чудо. Я прошу вас принести ему трубы и проволоку и поставить матросов к лебёдке. А если через час он не сдвинет судно с места — вы получите полное право высказать нам всё, что думаете, и мы выслушаем это молча. Но этот час вы ему дадите.

Инженер тяжело посмотрел на него, потом перевёл взгляд на Альгора. Тот уже не слушал никого: он водил кончиками пальцев вдоль рваной трещины вала, будто нащупывая внутри мёртвого железа невидимую нить, по которой можно было бы пустить ток заново.

Капитан помолчал, угрюмо разглядывая двух столичных юношей в безнадежно испорченных сажей белых рубашках. Затем он медленно развёл руками — не в жесте умывающего руки Понтия Пилата, а в суровом жесте *«почему бы и нет, хуже всё равно не будет»* — и коротко кивнул матросам у двери.

Это был их первый настоящий совместный бой в открытом море. И вёлся он по тем же правилам, что и все предыдущие, только масштаб стал колоссальным, а ставка — вопросом жизни и смерти. Альгор вышел один на один против законов физики, которые только что сказали «нет». Ализир — против человеческого скепсиса, который всегда говорит «нет» первым.

Инженер с ругательствами приволок трубы. Матросы угрюмо встали к ручной лебёдке. Альгор склонился над раскалённым железом, и его тонкие пальцы, ещё минуту назад перебиравшие невидимое, теперь вцепились в настоящее — в медь, в толстую проволоку, в чужой пот и чужую усталость.

Работа заняла у него четыре часа без перерыва. Он обмотал треснувший вал дюжиной слоёв медной проволоки — плотно, виток к витку, как накладывают шину на сломанную кость — а затем подвёл к этой шине передачу от якорной лебёдки. Матросы крутили её вручную, в строгом ритме, который Альгор отбивал ладонью по переборке; лебёдка заменяла собой разбитый подшипник и держала обороты ровно настолько, чтобы вал не разлетелся вдребезги. Конструкция вышла чудовищной, уродливой и временной — ровно настолько, чтобы дотянуть до порта. Но она работала.

Он начал складывать из этого то, чего ещё не существовало в природе, но что уже чётко проступало у него в голове, как проступала когда-то нелепая механическая птица из ржавой груды.

А высоко над ними, на залитой двойным солнцем палубе, невидимые в трюме, но оттого не менее безжалостные, шли их девяносто суток. И каждый тяжелый оборот лебёдки, каждый звонкий удар молотка по меди отнимал у них драгоценную минуту, которой могло катастрофически не хватить в самом конце.

Часы пошли. Бой начался.

А в это самое время, в душной портовой конторе чужого города, на два долгих перехода южнее того места, где братья в последний раз видели берег, Сара Фокстроджент развернула свежую газету.

Она взяла её из рук хозяина постоялого двора и сразу пробежала глазами по узкой колонке морских происшествий — по профессиональной привычке, выработанной за годы службы: читать сначала не кричащие заголовки, а самый мелкий шрифт внизу страницы, где обычно прячется то, о чём предпочитают молчать.

И нашла.

«Почтовый пароход «Гесперида» лёг в дрейф в открытом море вследствие поломки главного вала; пассажиров просят сохранять спокойствие; спасательный буксир выслан, но придет нескоро».

Сара сложила газету медленно. Очень, очень медленно, чтобы случайно не смять хрупкую бумагу и не выдать суетливому хозяину двора того, что у неё внутри в эту секунду обвалилось — и тут же собралось заново, стянувшись другим, мёртвым, железным узлом.

Поломка кованого вала, который безотказно служил тридцать лет, — ровно в тот единственный рейс, на котором её братья поставили на кон всё своё будущее.

Она не была на борту. Она ушла в свою невидимую гонку ещё той ночью, в клубе, когда безошибочно прочла микровыражение Вульпина и пошла по теневому следу синдиката своим путём — параллельным и, как она самонадеянно считала, опережающим. И вот теперь настоящая война, которую она собиралась встретить грудью первой, началась без неё.

Она началась там, где её физически не было. И началась не с пойманного за руку саботажника в трюме, которого можно было бы скрутить и допросить, а с «случайно» лопнувшей железки, подпиленной так профессионально и тихо, что ни один корабельный инженер не заподозрил умысла. Вульпин играл грязно, но безупречно чисто. Её братья сейчас болтались одни

посреди гладкого моря, и часы, которые она так бережно отсчитывала в их пользу, уже неумолимо пошли против них.

Она не стала дочитывать газетную сводку. Она не стала доедать завтрак, быстро остывающий перед ней на грубом деревянном столе. Она молча встала, бросила на столешницу серебряную монету с щедрой лихвой и вышла на улицу.

Двойной утренний свет Тристана и Изольды лёг ей под ноги двумя резкими тенями. И обе они, в отличие от тех теней в холле поместья, что расходились в разные стороны на рассвете, тянулись теперь строго в одном направлении. Вперёд. Туда, где начинался её собственный, пока невидимый им путь наперерез судьбе.

Настоящая гонка, которую она предвидела ещё в клубе, началась — и она непозволительно опоздала на её первый, бесшумный выстрел.

Больше она опаздывать не собиралась.

Альгор всё-таки заставил «Гесперида» идти. Не так, как прежде — ровно, уверенно, под мерный стук поршней, которого он так боялся лишиться, — а тяжело хромая, на самодельном, франкенштейновском приводе из медных труб, толстой проволоки и якорной лебёдки. Матросы ожесточенно крутили её в едином ритме по его команде ещё полдня, пока он, по локоть в мазуте, не собрал из корабельного хлама нечто, что держало обороты вала исключительно на честном слове и на трёх чудовищно сложных расчётах в уме.

Двое суток «Гесперида» хромала на самодельном приводе через остатки Океана Бурь. Альгор не спал ни часа: он сидел в машинном отделении, привалившись спиной к горячей переборке, и слушал, как его конструкция скрежещет, стонет и живёт. Каждый новый звук он раскладывал на обертоны — не как музыкант, а как диагност — и дважды за ночь останавливал лебёдку, чтобы подтянуть ослабший виток проволоки. Ализир в эти часы стоял на палубе, вглядываясь в тёмную воду, и молча менял матросов на ручной лебёдке, когда те валились с ног. Они не говорили друг другу ни слова — в этом ревушем, скрежещущем аду слова были бесполезны — но каждый знал, где стоит другой, и этого знания хватало.

Там, в глубоких доках восточного континента, вал уже меняли на настоящий, но братья, не дожидаясь конца ремонтных работ, сошли на берег. «Гесперида» после починки ложилась на обратный курс, на запад, а им нужно было строго на юг, к тропикам. Каждый час, проведённый на палубе чужого судна, идущего не в ту сторону, был часом, безвозвратно вычтенным из их девяноста суток.

Континент Хелвинг ударил в них сразу, наотмашь и со всех сторон. И это был удар свободы — но только не той, тихой, ржавой и понятной, что ждала их в детстве за проломом в каменной стене поместья, и не той, строгой и холодной, что пахла углём в столичном порту Мекрории.

Здесь, в сердце торговой Лиги, свобода была громкой, пёстрой и абсолютно ничьей. Агрессивные неоновые и жестяные вывески на трёх разных наречиях лезли друг на друга, борясь за место под солнцами. Исполинские портовые краны со скрежетом кланялись над головами, как спорящие стальные великаны. В плотном, влажном воздухе стоял густой, пряный дух смолы, экзотического дерева, жареной рыбы и чужих денег. И никто — абсолютно никто — не следил здесь за тем, как ты стоишь, достаточно ли прямо держишь спину и куда именно смотришь.

Ализир вдохнул этот первобытный коммерческий шум полной грудью и физически расправил плечи, будто с них наконец-то сняли тяжелый, невидимый сюртук отца. Он был здесь дома. В этой кипящей неразберихе, где всё двигалось, всё продавалось и всё было можно, он чувствовал себя акулой, выпущенной в открытое море. Улыбка на его губах стала той самой — лёгкой, хищной, живой, — какую он надевал не для чопорного зала Клуба Основателей, а исключительно для себя самого.

Альгор, напротив, инстинктивно втянул голову в плечи и прижал к груди тяжелый саквояж с инструментами так крепко, словно тот был щитом от пуль. Для его структурированного разума этот порт был слишком открытым, слишком громким, слишком лишённым уравнений и формул. Он шёл за братом по пятам сквозь бушующую толпу, отчаянно цепляясь взглядом за широкую спину Ализира, как за единственную надёжную, прямую линию в мире, где все остальные линии изгибались, ломались и дико плясали.

Именно Ализир первым уловил, что в доке что-то идёт не так. Уловил не потому, что хоть что-то смыслил в портовой логистике, а потому, что умел читать людской хаос так же виртуозно, как читал когда-то груды ржавчины на свалке. Не глазами, а чем-то под кожей, интуитивно, почти звериным нюхом находя в чужой суете то, что не лежало на своём месте.

У третьего причала тяжело осело в воду судно под погрузкой — большое, пузатое, с характерной осадкой гружёного океанского торговца. А над ним намертво замер, бессильно повиснув стрелой над трюмом, исполинский погрузочный кран. Вокруг него бегали и надрывно кричали люди на языке, в котором Ализир не разобрал ни слова, но безошибочно считал сам тон без всякого перевода: это был истеричный, звенящий тон людей, у которых прямо сейчас фатально горит срок.

У самого трапа, заложив руки за спину и каменным изваянием застыв посреди беготни, стоял человек. Коренастый, рыжебородый, с лицом, обветренным до цвета старой меди. Он смотрел на замершую стрелу крана так, как смотрят на песочные часы, из которых золотой песок сыплется прямо мимо открытого кошелька.

Ализир шагнул к нему раньше, чем успел подумать, стоит ли. Фальшивые очки с золотой оправой, которые он привычным жестом водрузил на переносицу ещё спускаясь по трапу «Геспериды», мгновенно поймали двойной свет Хелвинга двумя холодными бликами. Они спрятали его глаза так же надёжно, как карточный шулер прячет козырь в рукаве.

— У вас намертво встал кран, — бросил он по-деловому, без всякого приветствия. В Хелвинге, как он уже успел понять по ритму улиц, расшаркивания стоили времени, а время здесь ценилось куда дороже вежливости. — И у вас горит фрахт, иначе вы не стояли бы тут столбом, пока ваша команда рвёт глотки. А мне нужно на юг. Ваше судно, если я правильно прочёл флаг и осадку, идёт именно туда.

Рыжебородый посмотрел на него сверху вниз, даже не моргнув. В этом тяжёлом взгляде не было ни удивления, ни оскорблённой гордости — лишь быстрая, ледяная коммерческая оценка, какую делают люди, привыкшие за долю секунды решать, стоит ли вообще тратить на тебя слюну. Рабочие называли его Брант, и он был из той особой породы хелвингских дельцов, у которых в венах вместо крови циркулировал безжалостный счётчик: каждая минута простоя крана конвертировалась у него в звонкие монеты, и эти монеты он терял прямо сейчас, на глазах у всего порта.

— Кран сдох, — ответил Брант так же коротко, не утруждая себя вопросами, кто этот фронт в золотых очках и откуда у него такие познания в навигации. — Главный привод заклинило. Мой лучший механик третий час с ним воюет и пока только матюкается по-хелвингски. Судно идёт на юг, да. В Зангрил. И места у меня есть — две койки в матросском кубрике, не столичный люкс, но сухие. Но я не возьму на борт пассажиров, пока не закончу погрузку, а я не закончу, пока эта проклятая стрела висит в воздухе. Круг замкнулся, столичный юноша. Идите ищите другой причал.

Ализир не сдвинулся с места. Он лишь обернулся через плечо — туда, где Альгор стоял, вжав голову в сутулые плечи и судорожно прижимая к себе саквояж. И в этот момент в голове Ализира три разрозненных факта со щелчком сложились воедино — так же бесшумно и фатально неизбежно, как когда-то на свалке складывались часовая пружина, стёртая шестерня и дырявая маслёнка. Мёртвый кран. Горящий фрахт Бранта. И брат, который умел воскрешать то, что другие давно признали мёртвым.

Ализир не конструировал механизмы из железа — он конструировал *сделки* из того человеческого материала, что лежал вокруг. Из чужой отчаянной беды и чужой слепой спешки. И собирал он их так же жадно и так же снайперски точно, как подносил когда-то нужный рычаг для Альгора, угадав потребность брата на секунду раньше просьбы.

— Мой брат починит ваш кран, — сказал Ализир. Его голос был так же ровен, как в элитном клубе, как на причале Мекрории, как везде, где он делал беспроектную ставку. — За час. От силы — за полтора. А вы взамен повезёте нас на юг. Сегодня же, как только отдадите швартовы.

Брант перевёл тяжёлый взгляд на Альгора — на сутулую, нелепую фигуру в перепачканном ещё мазутом «Гесперидах» сюртуке, с крепко зажатым саквояжем. На медном лице шкипера что-то едва заметно дрогнуло: не слепая вера в чудо, нет, а сухой математический расчёт, в котором риск потерять ещё час внезапно стал меньше возможной выгоды.

Он коротко кивнул своим матросам у трапа.

Через минуту Альгор уже стоял под замершей стальной стрелой крана, задрал голову и быстро водя испачканными пальцами вдоль заклинившего узла. Ализир, глядя на него снизу вверх, увидел то же самое, что и на дне машинного отделения, но теперь это сияло в совершенно ином свете: брат больше не тонул и не цеплялся за кожаный саквояж от страха перед чужим, громким миром. Брат работал. И работал он так, что суровые портовые грузчики и бывалые механики вокруг сами собой замолкали и инстинктивно расступались, образуя почти-тельное кольцо. Потому что перед ними был уже не испуганный мальчишка с книгой. Перед ними стоял человек, который видел машину насквозь — до последнего винта и атома.

За сорок минут Альгор полностью разобрал намертво заклинивший привод, вынул сорванную стальную шпонку, виртуозно выточил из подручного куска латуни временную замену на доковом точиле, которое ему молча и благоговейно подкатил чей-то чумазый подмастерье, и собрал узел заново.

Кран конвульсивно дёрнулся, протяжно, торжествующе взвыл рабочими шестернями и плавно пошёл. Над открытым зевом трюма снова заходила тяжёлая стрела с грузом.

Брант наблюдал за воскрешением крана, не шевелясь. Когда ожившая стрела плавно подняла с причала первый тяжёлый ящик и перенесла его в трюм, шкипер молча повернулся к Ализиру и протянул ему мозолистую руку — коротко, по-хозяйски, без лишних восторгов и слов.

— Два места в кубрике, — сказал он. — Отходим через час. Но есть одно условие.

Ализир пожал протянутую руку, даже не дослушав. В этом единственном, стремительном жесте был весь он. Ализир уже получил то, что хотел — движение на юг, — а какое-то там «условие» казалось ему сейчас сущим пустяком, мелким шрифтом в контракте, с которым можно будет разобраться потом, в пути. Времени на долгие торги не было: часы на обшарпанной стене доковой конторы тикали ровно и неумолимо, отсчитывая минуты до отхода.

Ализир привык выворачиваться из любых условий чудом, харизмой и бешеным напором. И пока эта стратегия безотказно работала — пока каждое его легкое «да, согласен» оборачивалось триумфом, — он не видел ни малейших причин менять свои привычки. Фальшивые очки на его переносице ярко блеснули в портовом свете, и он на секунду самоуверенно тронул золотую оправу указательным пальцем. Этот жест стал для него таким же бессознательным ритуалом, как для Альгора — поправить настоящие очки, которых тот больше не носил. Улыбка Ализира была улыбкой человека, который только что блестяще выиграл размен.

— В Зангриле, — сказал Брант, и его голос внезапно стал чуть тише, чуть суше. Ализир уловил в нём ту самую глухую, опасную ноту, которой не слышал ни в элитном клубе, ни на причале Мекрории — ноту человека, прячущего в сделке гораздо больше, чем произносит вслух. — Вы передадите один груз. Небольшой. Закрытый ящик, который пойдёт строго в мои

руки в порту Зангрила лично. Без таможенного досмотра и без лишних вопросов. Мой человек встретит вас прямо у трапа. Вы отдадите ящик — и мы в полном расчёте. Согласны?

Где-то под рёбрами, там же, где до сих пор холодил кожу дерринджер Сары, шевельнулся короткий, неприятный холодок. Ализир узнал его — это был инстинкт, тот самый, что заставлял его когда-то угадывать нужную деталь в груди ржавчины. Инстинкт говорил: «Спроси, что в ящике». Но инстинкт говорил тихо, почти шёпотом, а портовые часы на стене доковой конторы тикали громко и нагло, отсчитывая минуты до отхода. И Ализир — в который раз за свою жизнь — выбрал скорость, а не осторожность.

Ализир был согласен. Он был согласен ещё с той секунды, как ударил по рукам. Какой-то закрытый ящик казался ему смехотворной платой за спасение графика, за билет на юг, за отвоёванные у судьбы сутки. Он кивнул легко и быстро. Не спросив ни что именно лежит в ящике, ни чьим будет этот встречающий человек, ни почему получатель не может забрать этот груз сам, не впутывая двух случайных столичных пассажиров. Ализир не спросил ничего, потому что физически не привык сомневаться в моменты своих побед. А он ведь только что победил.

Только Альгор, стоявший в стороне и тщательно вытиравший грязные руки куском промасленной ветоши, на долю секунды замер. Ткань в его длинных пальцах сжалась чуть крепче, чем требовалось для того, чтобы стереть с кожи латунную пыль.

Он посмотрел на старшего брата — на эту ослепительно-лёгкую улыбку, на блеск золотой оправы, на руку, уже расслабленно опущенную после рукопожатия. И впервые за весь этот безумный день, впервые, быть может, за всю их совместную дорогу, Альгор почувствовал внутри острый, колющий холодок. И исходил он не от страха перед сломанными механизмами и не от паники из-за горящих сроков. Это было нечто иное.

Он осознал, что его чистый гений, его сорок минут каторжного труда под заклинившим краном, его виртуозно выточенная шпонка и его стёртые в кровь руки только что бездумно пошли в оборот как разменная фишка в сомнительной сделке, условий которой он не слышал и на которую никто не спрашивал его согласия. Его разум, его великий дар впервые в жизни сработал не на общую Мечту и не на выживание семьи — а на чужой «закрытый ящик». И это было совершенно новое ощущение — тревожное и липкое, как вьевшийся мазут, который невозможно отмыть с кожи.

Но он промолчал. Брат уже дал слово, а слово Фокстроджента — даже данное на бегу, даже данное в слепой эйфории — было абсолютным законом. Альгор знал это лучше кого бы то ни было в мире. Но ледяной осадок остался. Он опустил куда-то на самое дно его души, лёг вплотную к тому тихому надлому, что случился в клубе, когда брат так же легко, не повернув головы, поставил на кон все его чертежи. Мина начала тикать.

Судно Бранта отходило на юг ровно через час. Когда тяжело гружёный левиафан отвалил от хелвингского причала, Ализир стоял на верхней палубе, смотрел, как уплывает назад пёстрый, шумный, свободный порт, и искренне улыбался своей победной улыбкой.

Альгор в это время сидел в тесном кубрике, привалившись спиной к холодной переборке. Саквояж с инструментами лежал у него на коленях, но пальцы больше не сжимали его до побелевших костяшек — они лежали расслабленно. Он не держался за опору. Он держался за мысль. Мысль была холодной и ясной: брат только что обменял его работу на закрытый ящик, содержимого которого не знает никто из них. И если в прошлый раз Ализир поставил на кон его чертежи, то теперь он поставил на кон нечто большее — их общую чистоту. Альгор не знал пока, что лежит в ящике, но уже понимал: когда они это узнают, что-то важное между ними сломается. Возможно, безвозвратно.

Он даже не догадывался, что глубоко в трюме, среди чужих тюков, уже лежит ещё один груз — закрытый и «без вопросов», — и что опрометчивое условие, которое он взял не глядя, поведёт их дальше совсем не туда, куда он рассчитывал.

Настенные часы остались в доковой конторе на берегу, но Альгор по-прежнему физически чувствовал их ритм внутри себя. Только теперь к этому ритму прибавился ещё один глухой стук — отсчёт того, что скрывалось в закрытом ящике и чего он не умел пока ни назвать, ни просчитать по формулам.

А в это самое время, в прохладном мраморном здании коммерческого представительства Орлсума, всего в трёх кварталах от доков, где братья грузились на судно Бранта, Сара Фокст-роджент сидела в пустом читальном зале для важных клиентов.

Она добралась до Хелвинга на два дня раньше братьев — поездом до побережья, а затем почтовым дирижаблем над архипелагом — и всё это время шла по паутине банковских переводов, которая вела её всё дальше на юг.

Она методично, страница за страницей, листала толстые учётные книги синдиката — те самые документы, в которых большие деньги оставляют следы куда аккуратнее и глубже, чем неосторожные люди оставляют их на свежем снегу. Она искала одно конкретное имя. Имя, которое она выцепила ещё в Мекрории, в густой тени барона Вульпина, и которое терпеливо вело её через полпланеты по тончайшей паутине финансовых переводов. Таких тихих и незначительных, что ни один штатный ревизор не поднял бы над ними головы.

И она нашла его здесь. В сухой строке банковского перевода, ушедшего три дня назад на далёкий юг, в Зангрил, на имя человека, которого официально не существовало ни в одном налоговом реестре, кроме этого.

Сара провела кончиком пальца по ровной строке чернил, даже не поднимая глаз, и поняла две вещи разом. Во-первых, теневой след Вульпина ведёт на тропический юг — точно туда же, куда только что отплыли её братья. И во-вторых: она всё ещё идёт по этому следу в полном одиночестве, в абсолютной тишине банковских контор, где настоящие войны начинаются не с пушечного выстрела, а с неприметной цифры, переползшей не в ту колонку.

Она с глухим стуком захлопнула учётную книгу. Встала, поправила строгий воротник платья и вышла из прохладного банка на шумную улицу Хелвинга.

Двойной свет двух солнц немедленно лёг ей под ноги двумя резкими тенями, тянущимися на юг. Туда, где её беспечные братья прямо сейчас везли в корабельном трюме чужой закрытый ящик, о котором она ещё ничего не знала. И куда её собственный, холодный расчёт вёл её всего на один шаг позади них.

Она ещё не знала ни про закрытый ящик, ни про сделку, заключённую на скорую руку под замершей стрелой крана. Но её выверенный, холодный расчёт уже вёл её на юг — туда, где сходились все нити: финансовый след Вульпина, курс братьев и смутное, пока безымянное предчувствие беды. Она не настигала их — она шла наперерез. И это было единственное преимущество, которое у неё оставалось.

Глава 3. Живые стены и мертвые гвозди

Зангрил встретил их не индустриальным грохотом, как Хелвинг, и не суровым порядком, как Мекрория. Зангрил обрушился на них самой жизнью — густой, влажной, бесстыдной, лезущей буквально отовсюду.

Порт стоял не на мертвом камне и не на кованой стали. Он стоял на живом дереве. Причалы здесь были не сколочены, а бережно выращены: корни исполинских мангров уходили в теплую, мутную воду, причудливо сплетаясь в прочные мостки, сходни и сваи. И пахло здесь не мазутом и не углём, а дурманящим букетом из экзотических цветов, прелой листвы, тяжелой соли и чем-то сладковато-гнилостным. От этого тягучего запаха у Ализира мгновенно закружилась голова, словно от неразбавленного вина.

Вдоль широкой набережной стояли дома, которые тоже не строили — их методично растили из живых стволов, переплетая ветви в плотные крыши. В быстро сгущающихся южных сумерках эти дома начинали слабо светиться изнутри мягким, ровным, фосфоресцирующим голубоватым светом, будто кто-то зажёл в сердцевине каждого ствола по тихой лампе. И теперь к привычным двойным теням от Тристана и Изольды, ложившимся под ноги братьям, примешивался третий, призрачный отсвет, размывавший любые чёткие границы.

Ализир шёл по светящейся набережной и физически чувствовал, как внутри него расправляется нечто, чему он не умел подобрать названия. Здесь можно было дышать полной грудью, здесь никто не требовал от мира быть геометрически правильным, и мир отвечал взаимностью, светясь в ответ.

Альгор шёл рядом, судорожно прижимая к груди кожаный саквояж. Он смотрел на светящиеся дома с тем напряжённым, почти болезненным интересом, с каким ученый смотрит на уравнение, в котором фатально не сходится баланс. Он не понимал, *как* именно древесина может испускать свет без электричества или огня, и это фундаментальное незнание одновременно раздражало его и непреодолимо тянуло к себе.

Человек Бранта ждал их у самого конца трапа, как и было обещано в сделке. Невысокий, смуглый, в лёгкой льняной рубаше, с лицом, на котором не читалось абсолютно ничего, кроме тупой деловой готовности. Он тихим голосом назвал пароль, который Брант бросил Ализиру на прощание в Хелвинге, забрал «закрытый ящик» — небольшой, обитый жёстью, но подозрительно тяжёлый для своих скромных габаритов — кивнул, не глядя братьям в глаза, и тут же повернулся, чтобы раствориться в толпе.

Стража появилась так стремительно, словно ждала именно этого — передачи из рук в руки. Кто-то следил за ними с самой секунды, когда они ступили на зангрильский причал, и терпеливо дожидался момента, который свяжет их с грузом неопровержимо.

И в ту же секунду, будто его короткий кивок послужил невидимым сигналом, из-за сплетённых корней огромного мангра бесшумно вышли трое. Люди в лёгких кожаных доспехах портовой стражи Зангрила наглухо преградили братьям дорогу.

— Вы задержаны, — произнес старший из них на ломаном, но вполне понятном общем наречии с тяжёлым местным креольским акцентом. Он небрежно положил мозолистую ладонь на рукоять короткого клинка. — Груз, который вы только что передали, числится в таможенном реестре как краденый и запрещённый к ввозу. Вы сошли с ним на берег, миновав досмотр. Идите с нами. Без шума.

Ализир резко обернулся — человека Бранта с жестяным ящиком уже и след простыл. Он растворился в светящейся, текучей толпе матросов и торговцев так чисто, словно его никогда не существовало.

И впервые за всю их долгую дорогу Ализир физически почувствовал, как победная улыбка, которую он бессменно держал на лице ещё с портовых доков Хелвинга, стала ему отвратительно тесна.

Он заговорил. Заговорил тем самым ровным, бархатным, деловым голосом, которым играючи выигрывал сложнейшие размены в Клубе Основателей и выторговывал время на хелвингском причале. Голосом столичного человека, у которого всё находится под абсолютным контролем и который способен уладить любую проблему.

Но здесь, во влажном, светящемся Зангриле, этот чарующий голос наглухо ударился о живую, тягучую, никуда не спешащую стену чужой провинциальной бюрократии. Она не покупалась ни на столичный напор, ни на обаятельную улыбку, ни на блики в золотой оправе очков.

Стражники слушали его речи предельно вежливо, мерно кивали, ни разу не перебили — и не сдвинулись с места ни на дюйм. И не отпустили. И не поверили ни единому сказанному слову.

Потому что в Зангриле, как Ализир понял с горьким, холодным опозданием, громким словам верили куда меньше, чем тихим бумагам. А бумаг у братьев не было вообще никаких — кроме разве что транзитных квитанций, которые теперь неопровержимо числили их соучастниками провоза краденого имущества.

Часы на деревянной башне портовой таможни глухо пробили время. Каждый их медленный удар был ударом кувалды по тающим девяноста суткам. Ализир, по инерции продолжая говорить и приводить аргументы, впервые в жизни ощутил ледяной ужас от того, что говорит в абсолютную пустоту. Его коронный приём, его знаменитый напор, его вечное заклинание «*я всегда вывернусь чудом*» — здесь не работали.

Закрытый ящик, который он взял на борт беспечно, не глядя, не удосужившись задать ни единого вопроса, только что со стальным лязгом захлопнулся вокруг них обоих, как волчий капкан.

Их отконвоировали в здание портовой таможни и заперли в комнате для задержанных.

Стены здесь были живыми — сплетёнными из толстых лиан, которые едва заметно, ритмично дышали и источали тот самый фосфоресцирующий, глухой свет. Их оставили ждать. Час, два, три. И с каждым глухим ударом портового колокола снаружи их девяноста суток таяли, как брошенный на горячие камни лёд.

Ализир безостановочно мерил тесную комнату шагами, словно запертый в клетке хищник, чью кинетическую энергию внезапно обнулили глухой стеной. Альгор же сидел на деревянной скамье абсолютно неподвижно и думал.

Когда стражник с чернильницей и протоколом наконец вернулся, чтобы записать их показания, заговорил не Ализир. Привычные, гладкие фразы застряли у старшего брата в горле — он знал, что они здесь бесполезны.

Заговорил Альгор.

Его голос звучал тихо, ровно, с той пугающей хирургической непререкаемостью, которая всегда появлялась у него, когда он видел внутреннее устройство системы насквозь. И заговорил он не о себе, не о правах столичных аристократов и не о брате. Он заговорил о ящике.

— Ящик, который мы передали на пирсе, — сказал он.

Стражник, собиравшийся было лениво отмахнуться от очередных оправданий, внезапно замер с занесённым пером. Потому что голос Альгора был голосом человека, который не вымалывает пощаду, а доказывает теорему.

— Он был обит жёстью с выбитым клеймом хелвингского торгового дома. Но металлические крепежные планки на нём были прибиты гвоздями с квадратным сечением. А в Хелвинге уже двадцать лет как перешли на механическую штамповку и используют исключительно гвозди круглые — я лично видел это в их доках, когда перебирал привод грузового крана.

Более того, планки прибили совсем недавно: когда человек Бранта забирал груз, одна из них чуть сдвинулась, и я заметил, что дерево под ней ещё светлое, не успевшее потемнеть от морской влаги.

Альгор поднял глаза на стражника. Линз на нём не было, и взгляд его был нестерпимо ясным.

— Значит, ящик собрали или как минимум переупаковали прямо здесь, в Зангриле, а не привезли из Хелвинга. И тот курьер, что его забрал, забрал его вовсе не для того, чтобы спасти ценный груз. А для того, чтобы этот груз *нашли* именно у нас в руках, прямо у трапа. Нас не задержали за провоз контрабанды. Нас показательно подставили, чтобы задержать.

Стражник нахмурился, переваривая услышанное.

— Проверьте портовый реестр, — безжалостно закончил Альгор. — Если этот ящик действительно числится там как краденый, держу пари: заявление о краже подано сегодня, в последние несколько часов. Уже *после* того, как наше судно вошло в гавань. Кто-то точно знал, что мы прибудем этим рейсом, и приготовил для нас этот капкан заранее.

Стражник смотрел на него долго и тяжело. Затем молча вышел, так и не макнув перо в чернильницу.

Он вернулся через долгие полчаса в сопровождении другого человека — постарше, в строгой одежде портового чиновника, с усталым, серым лицом того, кто слишком часто видел, как грязные чужие войны приходят в его тихий тропический порт и оставляют после себя чужих, подставных обвиняемых.

Чиновник задал Альгору ещё несколько перекрёстных вопросов, коротких и выверенных, как удары хлыста. Альгор ответил на них в точности так же — коротко и математически точно. Выслушав ответы, чиновник медленно кивнул. И в этом его скупом кивке было то самое мгновенное узнавание, которое Ализир уже видел в Клубе Основателей и в машинном отделении «Геспериды». Это было глубокое уважение человека, осознавшего, что перед ним сидит не испуганный столичный мальчишка. Перед ним сидел Ум. И этот Ум только что за пару минут распутал криминальный узел, который местная стража по инструкции распутывала бы целую неделю.

— Вас использовали втёмную, — сказал чиновник. В его скрипучем голосе не было ни теплого сочувствия, ни служебного злорадства — только безмерно усталая констатация факта. — Кто-то ловко провёл запрещённый груз через таможеню вашими руками, чтобы не засветить своих людей, и намеренно оставил вас расплачиваться. Мы проверим временные логи реестра и поищем того, кто забрал ящик, — если, конечно, найдём. С вас сняты обвинения. Вы свободны.

Чиновник сухо поклонился и добавил:

— Но время, которое вы потеряли в этой камере, вам уже никто не вернёт. И судя по вашим лицам, господа, именно время волнует вас куда больше, чем свобода.

Они вышли из портовой конторы в глубокую ночь. Зангрил дышал вокруг них, переливаясь голубоватым, ровным, совершенно равнодушным светом живых домов. Привычные двойные тени от Тристана и Изольды, размытые этим третьим, призрачным фосфоресцирующим отсветом, ложились под ноги нечётко, зыбко — как будто даже тени здесь не могли окончательно решить, в какую сторону им безопаснее тянуться.

Ализир шёл молча, и это молчание было абсолютно новым. Не тем лёгким, театральным, каким он обычно выдерживал паузу, пока копил в уме хлёсткую шутку или аргумент. Это молчание было тяжёлым, непривычным, удушливым. Альгор, шагавший рядом, кожей чувствовал, как старший брат мучительно ищет слова и впервые в жизни не может их найти.

Они потеряли почти полдня. Их бесценные девяносто суток стали короче на двенадцать часов, и этих часов им будет катастрофически не хватать. И не хватало их исключительно из-за одного закрытого ящика, который Ализир самоуверенно взял не глядя, не спросив, не подумав.

Из-за его коронного, беспечного «я согласен», из-за его слепого напора, из-за укоренившейся привычки всегда выигрывать, не считая сдачу.

Если бы не Альгор. Если бы не его маниакальное внимание к квадратным гвоздям и цвету дерева под планками. Если бы не его тихий, непререкаемый голос в комнате с дышащими стенами — они бы прямо сейчас сидели в тропической тюрьме и бессильно смотрели, как тают их сутки. И Ализир не вывернулся бы из этого капкана никаким столичным шармом, потому что харизма здесь не работала. Здесь сработал только чистый ум, которого у Ализира в тот момент на причале не оказалось.

Ализир тяжело остановился посреди светящейся набережной. Он поднял руку и снял очки — медленно, в точности тем же жестом, каким снимал их в элитном клубе, идя на обострение ставки. Долго и бессмысленно протирал абсолютно чистые стёкла краем рубашки. Затем надел обратно.

Но суть этого жеста кардинально изменилась. В клубе он сбрасывал маску дипломата, чтобы обнажить клыки хищника и ударить. Здесь он снял её для того, чтобы на одну секунду перестать быть тем непогрешимым Ализиром, который всегда выигрывает. Чтобы посмотреть на брата без защитного золотого блика. Голыми, беззащитными глазами.

В этих глазах впервые за всю их долгую дорогу не было ни фирменной улыбки, ни бронированной уверенности. В них плескалось только тихое, горькое и растерянное понимание: он только что втянул брата в чужую грязную игру. Брат его из неё вытащил. Но в следующий раз может и не вытащить.

Ализир приоткрыл рот, чтобы сказать хоть что-то — путаное извинение, неловкое объяснение, глупую шутку, что угодно, лишь бы заполнить звенящую тишину, — и тут же закрыл, так ничего и не произнеся. Ни одно слово сейчас не подходило. Вместо пустых слов он просто положил руку брату на плечо. Тяжело, без своей обычной светской лёгкости, всем весом признавая вину.

Альгор секунду смотрел на его руку. Где-то внутри него, под рёбрами, боролись два голоса. Один — холодный и злой — требовал сказать: «Я же предупреждал тебя в Хелвинге». Этот голос помнил всё: и клуб, где брат поставил на кон его чертежи не глядя, и кран, который починили за сорок минут, чтобы тут же обменять эту работу на чужой закрытый ящик, и таможеню, где они потеряли полдня по милости его же беспечности. Но второй голос был тише и старше. Он помнил другое: ржавую свалку, механическую птицу, пролетевшую пять секунд, и то, как Ализир вставал глухой стеной перед каждым, кто говорил «нет». Альгор выбрал второй. Он молча накрыл пальцы брата своей испачканной ладонью.

Они постояли так, замерев под голубоватым светом чужих живых деревьев, и этого было более чем довольно. Они оба поняли всё, что не было сказано вслух. И тот ледяной холодок, что осел на дно души у каждого из них, внезапно стал общим — и оттого сделался чуть легче.

— Эй, столичные! — окликнул их скрипучий голос.

Тот самый усталый чиновник, вышедший из конторы следом, стоял у резных деревянных ворот. Он окликнул их не по долгу службы, а так, как окликают людей, которых почему-то не хочется отпускать в чужую ночь без напутствия.

— Раз уж вы всё равно потеряли из-за нас полдня, — сказал он, подходя ближе. В его сером, измятом лице мелькнуло что-то, отдалённо похожее на человеческое участие. — Я дам вам письмо к капитану одного речного судна. Оно уходит завтра на самом рассвете вверх по реке, к внутренним провинциям. Этот маршрут срезает три дня пути в обход побережья. А вам, судя по вашим глазам, сэкономленные дни сейчас нужны гораздо больше, чем мне — спокойный сон.

Он протянул Ализиру запечатанный конверт, но пальцы не разжал.

— И ещё одно, — чиновник тяжело помедлил, глядя куда-то вдаль, в фосфоресцирующую темноту между кронами. — Ящик, который вам подсунули, — это не рядовая контра-

банда. Подобные грузы, обитые жестью с чужим клеймом, тихо ходят через наш порт уже не первый месяц. И ходят они к одному и тому же человеку, которого я не могу ни назвать, ни поймать, потому что за его спиной стоят фигуры, способные раздавить меня одним росчерком пера. Ящики несут не на рынок. Их носят в закрытую усадьбу за Поющими садами, на северной окраине. Кем-то, кого держат там и не выпускают.

Он наконец отпустил конверт.

— Я не знаю, кто там сидит и почему. Но если вы ищете настоящую беду — а вы, столичные чужаки, вечно ищете беду, — то она живёт именно там.

Чиновник сухо кивнул и растворился в светящейся тропической ночи.

Братья остались стоять у ворот конторы. Ализир неотрывно смотрел на спасительное письмо в своей руке, а Альгор поднял взгляд на север. Туда, где за светящимися кронами мангров, за Поющими садами, в наглухо закрытой усадьбе сидел кто-то, кого лишили свободы. И оба они, не сговариваясь, поняли одну истину: полдня, безвозвратно потерянные из-за чужого ящика, привели их не в тупик. Они привели их к двери, в которую иначе они не постучали бы никогда в жизни.

А в это самое время, в здании портовой таможни Зангрила, всего в трёх извилистых кварталах от светящейся набережной, по которой братья шли к своей случайной двери, Сара Фокстроджент сидела над теми же самыми реестрами, что и усталый чиновник.

Только читала она их совершенно иначе. Она искала не строки о перемещении грузов, а строки о движении денег. И в этих колонках цифр она уже целый час ясно видела то, чего не смог разглядеть ни один зангрильский стражник.

Она нашла банковский перевод из Орлсума, ушедший неделю назад на имя хелвингского шкипера Бранта. А от него — тонкий, почти невидимый финансовый ручеёк на имя человека, которого физически не существовало ни в одном налоговом реестре, кроме этого. Человека, который сегодня, в последние часы, подал в порту Зангрила официальное заявление о краже ящика, обитого жестью с хелвингским клеймом.

Сара с силой провела ногтем по сухой строке и поняла всё разом. Синдикат Вульпина не просто следил за её братьями — синдикат играл ими, как слепыми пешками. Они провели запрещённый груз руками Ализира и Альгора, чтобы не светить собственных курьеров, и намеренно оставили их расплачиваться. И сделали это настолько виртуозно и тихо, что ни одна местная ищейка не увидела бы в этом ничего, кроме рядового задержания двух незадачливых столичных идиотов.

Её братья сейчас сидели в конторе, теряя драгоценные часы, которых у них не было.

Сара с глухим хлопком закрыла тяжёлый таможенный реестр. Встала, поправила воротник и стремительно пошла к выходу.

Когда она ступила на улицу, двойной свет двух солнц и третий, пульсирующий голубоватый отсвет зангрильской ночи легли ей под ноги нечётко, размыто. Но её тени тянулись по-прежнему только в одну сторону — строго на север. Туда, куда, как она абсолютно точно знала, неизбежно пойдут и они.

Потому что беда в этом тропическом порту жила в одном и том же месте для них троих. И Сара Фокстроджент собиралась добраться до неё первой.

В ту ночь они больше никуда не пошли.

Усталый портовый чиновник отпустил их под самые сумерки, когда двойное небо над Зангрилом уже начало наливаться густым, тропическим индиго. Братья, измотанные морально и физически, рухнули за первый попавшийся стол в портовой чайной на окраине набережной.

Она была низкой, сплетённой из толстых живых лоз. Стены здесь не просто дышали теплом — они мягко пульсировали, светясь изнутри тусклым, обволакивающим янтарным све-

том. Это был совсем не тот надменный, холодный голубой неон, что заливал вычурные дома богатых торговцев у пристани; это был свет домашнего очага, уютный и приглушенный, как пламя керосиновой лампы под старым абажуром.

Пожилая смуглая хозяйка, даже не удосужившись задать вопрос, молча поставила перед ними две глиняные миски с чем-то невыносимо густым и пряным. От варева густо шёл пар, пахнувший жгучим имбирём, кокосовым молоком и какой-то сладкой, дурманящей смолой. Следом на стол опустился кувшин тёплого терпкого настоя. Хозяйка бесшумно удалилась, не требуя ни вежливых слов, ни платы вперёд. И в её молчаливом, житейском *«сначала поешьте, потом сочтёмся»* оказалось куда больше человеческого милосердия, чем во всех церемонных кивках портовой стражи за последние часы.

Ализир ел механически. Он не чувствовал ни обжигающей остроты, ни вкуса еды, тупо глядя на дно глиняной миски. Фальшивые очки с золотой оправой, которые он так и не снял после выхода с набережной, густо запотевали от пара похлебки. Он даже не пытался их протереть. Пусть. Пусть весь этот тропический, влажный мир за стёклами плывёт мутными пятнами; сейчас ему было абсолютно всё равно, чётко он видит реальность или нет. Реальность только что разбила ему нос.

Альгор ел медленно, методично и аккуратно. И думал.

Ализир ясно видел это по тому, как неестественно неподвижно лежали длинные пальцы брата на краю горячей миски. Но думал Альгор явно не о подставном ящике и не о квадратных гвоздях хелвингских доков. Его взгляд блуждал где-то чудовищно далеко, а узкое лицо казалось усталым до пепельной серости.

Полдня. Они бессмысленно, глупо потеряли целых полдня из оставшихся восьмидесяти суток. И эти полдня были безвозвратно вычеркнуты из их жизней чужим закрытым ящиком и его собственным, ализиновым беспечным *«я согласен»*, брошенным на бегу, не глядя.

Впервые в жизни Ализиру совершенно не хотелось шутить. Он не мог даже заставить себя выдавить ту лёгкую, защитную полуулыбку, которая всегда, с самого раннего детства, была у него наготове, как складной нож в кармане. Улыбка куда-то бесследно испарилась, обнажив под собой абсолютную, выжженную пустоту. И эта глухая, звенящая тишина внутри пугала старшего брата гораздо больше, чем крики разъяренных грузчиков или портовые стражники со стальными клинками наголо. Он не знал, как жить, когда не уверен в себе.

В низком зале чайной былолюдно и густо накурено чем-то травянистым и сладковатым. В дальнем углу, на невысоком деревянном помосте, скрестив ноги, сидел слепой старый сказитель. На его коленях лежал странный, местный биолюминесцентный инструмент — длинная, причудливо изогнутая штука, похожая на огромный высушенный стручок, светящаяся изнутри голубоватыми фосфорными прожилками.

Старик медленно перебирал светящиеся струны и пел. Негромко, вполголоса, так, что сами слова долетали до сознания не сразу, а так, как долетает тяжелый запах: сначала ты его просто чувствуешь, а лишь потом распознаешь суть. Он пел на тягучем зангрил-креольском наречии, но Ализир, не понимавший в нём ни единого слова, всё равно замер и прислушался. Потому что в скрипучем голосе слепого старика звучала та самая универсальная, первобытная интонация, которую он мгновенно считал без всякого перевода. Интонация человека, который рассказывает о чём-то драгоценном, что потеряно навсегда, и кто точно знает, что это больше не вернут.

Хозяйка, проплывая мимо их стола с подносом пустых кружек, не останавливаясь, бросила братьям через плечо:

— Это он про мекрорийскую принцессу поёт. Ту самую, что пропала на трактах. Уж третью неделю поёт, не замолкая, с тех самых пор, как сюда весть дошла.

Ализир резко поднял глаза от миски. Альгор тоже.

Они не сговаривались — просто одно лишь слово «мекрорийская» зацепило их обоих, как цепляет в чужом, враждебном шуме родное имя, внезапно произнесённое случайным незнакомцем.

До этого мгновения он слушал старика вполуха — просто давал чужому тягучему ритму заполнить звенящую пустоту внутри, которая осталась после таможни. Но слово «мекрорийская» прозвучало как щелчок взводимой пружины. Теперь он слушал всем телом.

Слепой старик допел куплет и, будто кожей почувствовав спиной присутствие чужаков, плавно перешёл с певучего речитатива на размеренный рассказ — под ленивый, гипнотический перебор светящихся голубых струн.

Хозяйка, подлив им из кувшина ещё горячего настоя, задержалась у грубого стола. Она принялась переводить вполголоса. С той усталой, стёртой точностью, с какой люди пересказывают то, что слышали уже сотню раз, но от чего всё равно каждый раз предательски щемит в груди.

— Дочь древнего дома, — говорила она ровно, глядя куда-то поверх голов братьев, прямо в пульсирующую янтарную стену. — Из самой старой крови Мекрории. Из той, что помнит ещё времена до Великого Раскола, как рассказывают. Её зовут Шиала. Пропала по дороге — ехала с дипломатическим посольством через дикий юг, на обоз напали, перебили охрану и увезли девчонку. И никто теперь не знает куда. А может, и знают, да только крепко помалкивают. Отец её — глава дома, влиятельный человек, но сейчас он связан по рукам и ногам политикой, как все они там, в своих старых мраморных залах. Ему нельзя послать регулярное войско, нельзя официально объявить войну, нельзя даже слишком громко задать вопрос. Один его неверный, резкий шаг — и рухнет то хрупкое равновесие, что держит его дом и пол-Мекрории в мире. Вот он и сидит в столице, рассказывают. Молчит, глотает бессилие и ждёт.

Хозяйка чуть усмехнулась. В её кривоватой улыбке не было ни капли насмешки, лишь что-то тёплое, почти материнское.

— А сам-то, говорят, в глубине души радуется, что дочка у него выросла именно такой, какой он её втайне и лепил. Она ведь с малолетства не могла чинно усидеть на месте, эта Шиала. Всё ей нужно было проверить самой. То на отцовскую конюшню тайком заберётся и объедит жеребца, которого опытные наездники боялись — а через неделю уже гарцует на нём перед дворцом, и конь под ней как шёлковый. То в чужой торговый караван увяжется под видом погонщицы верблюдов и пройдёт с ним до границы пустыни, а потом вернётся с картой неизвестного оазиса, составленной от руки. То пропадёт в лесах на три дня — её с собаками ищут, находят, отец потом ругает при всём дворе так, что стёкла звенят и стены трясутся. А ночью, рассказывают, сидит один у камина и гордо улыбается в седые усы. Потому что понимает: такая девка нигде не пропадёт. Такая выкарабкается со дна любой беды. Он её специально такой и растил — на выживание. Знал, видно, что однажды на её кровь откроют охоту. Вот и доохотились.

Ализир слушал эти слова, и глубоко внутри него что-то мучительно, со скрежетом повернулось.

Нет, это была не сентиментальная жалость. Он ещё не научился жалеть незнакомую, далёкую принцессу — он сам был слишком свежо и больно ранен собственным унижительным провалом в порту. Это было узнавание. Глухое, колючее и физически дискомфортное узнавание.

Отец, который публично ругает для незыблемого порядка, но втайне восхищается твоей дикостью. Отец, который жестко растит ребёнка на выживание, потому что знает: мир рано или поздно начнёт охотиться на тех, кто выламывается из рамок. Ализир слишком хорошо знал *такого* отца. Он сам был в точности таким же непоседливым ребёнком — только на него охотились не для того, чтобы похитить ради выкупа, а чтобы усадить за парту, утихомирить, вписать в идеальный, симметричный чертеж рода.

Его собственный отец тоже непререкаемо отчитывал его вслух, но молча пододвигал марципаны. И, наверное, точно так же прятал улыбку в усы, когда его неугомонный младший сын в очередной раз сбегал за каменную стену, в ржавую свободу свалки.

Ализир отвёл потяжелевший взгляд от смуглого лица хозяйки и снова уставился на дно своей миски. Ему стало ещё тише и страшнее внутри, потому что чужая далёкая принцесса в чужой беде вдруг оказалась болезненно похожей на его собственное, отчаянное детство. Он совершенно не знал, что делать с этим внезапным родством душ, и не хотел о нём знать. Он просто взял кружку и допил обжигающий настой залпом, до боли в гортани, лишь бы ещё хоть одну минуту не чувствовать вообще ничего.

Слепой старик снова ударил по светящимся струнам, и хозяйка, помедлив, добавила — теперь уже не переводя песню, а просто делясь старой портовой байкой. С той специфической смесью почтения и бытовой иронии, с какой говорят о вещах, в которые сами не вполне верят, но которые слишком эффектны, чтобы их не пересказать:

— А кровь у них, сказывают, и вовсе не здешняя. Чудная. Древняя, от самой первой Мекрории, от тех легендарных людей, которых перенесли в наш мир Бог весть когда и Бог весть откуда. И женщины того древнего дома несут в себе новую жизнь куда щедрее, чем прочие смертные. Рожают не по одному, а сразу целым выводком — близнецами, тройнями... А в старину, говорят, бывало и по шестеро за раз! И каждый младенец — как искра. Каждый с такой гениальной головой, от которой у столичных нянек волосы дыбом встают. Бабки на рынках врут, конечно, — хозяйка пренебрежительно махнула кухонным полотенцем, — где это вообще видано, шестеро детей за раз, да ещё чтобы все живые остались. Но то, что генетика у них древняя, особенная — это чистая правда. С этим даже наши зангрильские умники-биоархонты не спорят, только руками в бессилии разводят.

Ализир пропустил эту анатомическую справку мимо ушей. Ему было глубоко плевать на бабьи сказки про роды и доисторическую кровь — в его гудящей голове прямо сейчас тикал свой собственный, куда более жестокий и насущный счётчик. Какие-то чужие гипотетические шестеро близнецов были для него сейчас таким же бессмысленным шумом, каким был когда-то, в десять лет, отцовский палец на карте, обводящий скучный пустой остров у побережья.

Ализир отодвинул пустую миску, уставился в мутное окно на фосфоресцирующую тропическую ночь и мрачно думал о том, как завтра на рассвете не опоздать на речную посудину. О том, что треклятый жестяной ящик, который он взял на борт, не глядя, всё ещё лежит где-то в трюме у неведомых контрабандистов. И о том, что сегодня брат вытащил его со дна, а он, непогрешимый Ализир Фокстроджент, не вытащил сегодня абсолютно никого. Даже самого себя.

Зато Альгор не пропустил ни единого слова.

Он сидел на деревянной скамье неестественно прямо, недоеденная похлебка перед ним давно и безнадежно остыла. И в его воспаленных глазах, сквозь мутную пелену изматывающей усталости, вдруг снова вспыхнул тот самый тихий, острый, недетский огонь, который Ализир видел над заклинившим портовым краном Хелвинга. Огонь учёного, который только что зафиксировал грандиозную аномалию и теперь физически не может её развидеть.

Древняя кровь от первой Мекрории. Аномальная щедрость на гениальных детей как закрепленная генетическая мутация, а не статистическая погрешность.

Альгор понятия не имел, зачем ему прямо сейчас нужна эта безумная информация. Он не собирался обсуждать её вслух с убитым горем братом. Но он бережно взял эти факты и аккуратно, как хрупкие колбы, уложил их в свою феноменальную память. Туда же, куда много лет назад методично отложил точные координаты никому не нужного острова и плотность его потенциально враждебного населения. В ту самую тихую, глубокую кладовую ума, где безопасно пылились вещи, для которых ещё просто не пришло время, но которые однажды неизбежно сойдутся в одну грандиозную, математически безупречную картину.

Но пока брат молча смотрел в стену, он уже чувствовал: древняя кровь, аномальная мутация и закрытая усадьба за Поющими садами — это не три разрозненных факта. Это вершины треугольника, который однажды замкнётся. И в центре этого треугольника, он почти не сомневался, окажется не слепой сказитель, не портовый чиновник и не синдикат Вульпина. В центре окажется та, чьё имя сейчас гудит по всему Зангрилу.

Альгор перевёл взгляд на старшего брата. На его запотевшие стёкла-нулёвки, на безвольно опущенные плечи, на страшную, звенящую пустоту там, где всю жизнь порхала самоуверенная улыбка.

И Альгор промолчал. В эту секунду его долгое молчание было куда милосерднее и целительнее любых, даже самых правильных слов.

Слепой старик допел последний куплет. И в этих финальных, затухающих строках прозвучало конкретное имя — но не имя принцессы, а название места.

Северная окраина. Поющие сады. Усадьба, из которой никого не выпускают.

Хозяйка чайной перевела эти слова ровно, без всякой сказочной интонации, так, как буднично диктуют почтовый адрес, и, забрав пустой кувшин, ушла к другим столам.

Братья остались сидеть в обволакивающем янтарном свете живых стен. Оба они предельно ясно услышали этот адрес. И оба мгновенно вспомнили усталого чиновника в портовой таможне, который всего час назад предупреждал их о закрытой усадьбе за Поющими садами, куда тайно стекается контрабанда и где кого-то держат силой. Две разрозненные нити, брошенные в их головы совершенно разными людьми в один тропический вечер, тихо легли рядом и намертво совпали.

Но ни один из братьев не сказал другому: «Пойдём туда». Ни один из них даже не попытался встать.

В эту душную ночь они были слишком измотаны. Слишком сильно побиты чужими правилами. Они чувствовали себя слишком *не-героями*, чтобы прямо сейчас бросаться навстречу новой беде. У них хватило сил лишь на то, чтобы тяжело подняться, расплатиться и подняться в крошечную, снятую на одну ночь комнату над чайной, где густо пахло сухим деревом и перетёртым имбирём.

Ализир рухнул на узкую койку, даже не сняв перепачканного сюртука, и закрыл глаза. Но сон не шёл. Последнее, о чём он мучительно думал в эту ночь, глядя в темноту, было не о похищенной принцессе и не о загадочной усадьбе. Он думал о том, что завтра на самом рассвете им предстоит сесть на речное судно. И что эта река, по брошенным вскользь словам хозяйки, делает крутой изгиб и огибает северную окраину ровно там, где начинаются те самые Поющие сады.

Судьба, которая сегодня так жестоко ударила их по рукам чужим закрытым ящиком, завтра утром ехидно подтолкнёт их носом прямо к чужой беде. И ему, Ализиру, придётся делать выбор: трусливо пройти мимо, сберегая драгоценные сутки, или велеть остановить судно. Он ещё не знал, какое именно решение примет на рассвете. И до одури боялся обоих.

В темноте, под мерный стрёкот тропических цикад за окном, этот выбор лежал у него в груди — не дерринджером Сары, а чем-то более тяжёлым и менее определённым. Его нельзя было вынуть из кармана и переложить на стол. Его можно было только принять — или струсить.

На соседней койке лежал Альгор. Он тоже не спал. Он смотрел в низкий плетёный потолок и беззвучно считал в уме. Но не потерянные часы и не мили предстоящего маршрута. Он сводил в одно уравнение две совпавшие нити, древнюю генетическую мутацию, лопнувший вал «Геспериды» и то, как завтра мутная речная вода понесёт их прямо мимо Поющих садов. Альгор молчал и ждал утра, которое не обещало им ничего хорошего — кроме неизбежной необходимости снова решать за двоих.

А высоко над портом, на плоской крыше портового пакгауза, где она сняла неприметный угол под чужим именем, стояла Сара Фокстроджент.

Заложив руки за спину, она неотрывно смотрела на север. Туда, где за светящимися фосфорными кронами мангров тёмным пятном возвышалась усадьба. Она нашла её своим собственным путём — не через жалостливые кабацкие песни и не через портовые слухи. Она нашла её через деньги. Через тот тонкий, невидимый ручеёк перевода из Орлсума, который упрямо вёл её через половину континента и привёл именно сюда, к этим глухим стенам.

Теперь она знала наверняка: за ними держат не просто случайную пленницу, а ту самую особу, чьё имя уже третью неделю надрывно пел слепой сказитель.

Сара знала, что пойдёт туда завтра. И она прекрасно знала, что чужих мужчин в ту усадьбу не пускают — это была закрытая, строго охраняемая женская территория, из тех золотых клеток, куда имеют доступ лишь свои. Чужой мужчина у кованых ворот был бы замечен, как полыхающий факел в сумерках.

Значит, ей самой предстояло стать такой, какую туда впускают, даже не проверяя лица. Ей нужно было стать одной из тех, на кого смотрят, но кого в упор не видят. Одной из тех бесчисленных наложниц или прислужниц, чьё лицо надёжно прячут за шёлковой вуалью, а тело — за плавным ритмом танца. Той, кто проходит сквозь чужую бдительность, как луч света сквозь воду, не оставляя на поверхности ни малейшей ряби.

Она уже придумала, как именно это сделает. Она до мельчайших деталей знала, во что оденется, как изменит пластику шага, и как опустит край вуали ровно на то самое место, где её могли бы гипотетически узнать, если бы кому-то вообще пришлось в голову вглядываться в глаза танцовщицы.

Сара неподвижно стояла на крыше. Её тени под перекрёстным светом двух лун Зангрила лежали поперёк шершавой кровли — длинные, острые и абсолютно одинокие. Они тянулись строго на север, к тёмному силуэту усадьбы, и Сара смотрела им вслед так умиротворённо, будто уже мысленно прошла по ним туда и обратно.

Она просто стояла на крыше, хладнокровно считала огни вражеской усадьбы и ждала рассвета.

Глава 4. Усадьба за поющими садами

Сара вошла в закрытую усадьбу на закате.

Она прошла через кованые ворота вместе с партией наёмных танцовщиц, которых везли на вечер для хозяина и его особых гостей. И вошла она так, как умела входить всю свою жизнь: неслышно, неизбежно, не привлекая к себе ни единого взгляда дольше, чем требуется, чтобы этот взгляд соскользнул дальше по толпе.

Наряд на ней был из тех, что носят здешние элитные невольницы ритма — тонкий, полупрозрачный, откровенный. Такой, при котором женское тело намеренно обезличивается, превращаясь в живую часть обстановки, в один из многих светящихся, безмянных силуэтов в тропической полутьме зала. Именно поэтому охрана у ворот не смотрела на неё как на угрозу: на угрозу смотрят в лицо. А лицо Сары надёжно прятала вуаль — густая, утяжеленная золотой вышивкой по самому краю, оставлявшая открытыми только глаза.

А глаза она благоразумно держала опущенными долу. Так держат взгляд те, кто точно знает своё место, кто обучен быть невидимым и кто прекрасно понимает: быть узанной здесь — значит быть запомненной. А быть запомненной — значит провалить операцию и умереть.

Под тончайшим шёлком наряда, в плотном потайном поясе, ледяным слитком лежал её дамский дерринджер. Рядом с ним покоился тонкий, матово-чёрный клинок. А на груди, спрятанная под самым сердцем, ритмично пульсировала ещё одна крошечная деталь, которую она чудом пронесла мимо телесного досмотра, — армейский сигнальный маяк.

Она должна была включить его в нужный, выверенный момент. И тогда спецназ Зангрила, с которым она договорилась ещё три дня назад через тихие, секретные каналы Орлсума, пойдёт на штурм. Ровно в ту секунду, когда она откроет им боковую калитку изнутри.

План был прост, жесток и безупречен, как и всё, что она делала в этой жизни. Стать невидимой. Пройти сквозь залы до калитки. Активировать маяк. Открыть засов. Отойти в тень и дать штурмовой группе сделать свою кровавую работу. План был хорош. Но этот план был рассчитан на двоих — на неё и на тех, кто должен был ждать снаружи в назначенный час. И пока что снаружи, за высокой стеной усадьбы, было глухо и тихо.

Усадьба жила своей изолированной жизнью. И жизнь эта была странной, одурманивающе-душной. Она была красивой той тяжелой, больной красотой, за которой всегда прячется неминуемое гниение.

Знаменитые Поющие сады окружали главное здание со всех сторон. Местные биоархонты вывели эти деревья так хитроумно, что даже на самом слабом ветру их листва звенела тонкими, почти музыкальными, кристальными голосами. Этот стеклянный звон плыл над стенами непрерывно, днём и ночью. От него было физически невозможно спрятаться, и уже через час ты переставал понимать, откуда именно идёт звук. Идёт ли он от деревьев, или это уже лопнули капилляры, и звенит в твоей собственной голове.

Внутри усадьбы горел тот самый фирменный голубоватый свет Зангрила. Но здесь он был приглушён, приручен, извращён. Он был искусственно разлит по залам так, чтобы льстить лицам гостей и прятать в густых тенях острые углы. В этом дурманящем свете танцовщицы двигались по залу, как стайка экзотических рыб в огромном аквариуме, — плавно, тягуче, без резких движений, без имён, без лиц за тяжелыми вуалями.

И Сара двигалась вместе с ними.

Она растворилась в их монотонном ритме, плавно изгибаясь в такт чужой музыке, и с нарастающей тревогой чувствовала, как её собственное, вышколенное дыхание предательски подстраивается под этот гипнотический ритм. И это было самым опасным из всего, что могло случиться. Начать дышать в такт месту, которое тебя удерживает — первый шаг к тому, чтобы остаться здесь навсегда.

Она не позволяла себе этого. Опустив ресницы, она холодно считала про себя шаги до заветной калитки. Она считала вооруженную охрану по периметру. Она считала секунды до часа «Икс». И она изо всех сил держала глубоко внутри свой собственный, отдельный, спасительный ритм — сухой, ровный и трезвый. Как стук стального метронома, спрятанного под нагромождением громкой музыки.

Пленницу она увидела не сразу. Девушку держали не в центральном зале, а в глубокой нише за ажурной деревянной решёткой, куда безымянным танцовщицам заглядывать строго воспрещалось. Но Сара заглянула — одним неуловимым, скользящим поворотом головы, не сбиваясь с плавного шага, — и увидела.

Пленница сидела на низкой резной скамье. Её воздушное белое платье, когда-то роскошное, теперь свисало грязными, измятыми лоскутами. Светлые волосы спутались, а лицо приобрело ту прозрачную, пугающую бледность, которая появляется от долгих дней взаперти без солнечного света.

Но её глаза — пронзительно-голубые, точно такие же голубые, как у самой Сары — оставались живыми и пугающе ясными. В них не было ни влаги от слёз, ни тупой пустоты, ни той животной, сломленной покорности, которую офицер полиции Фокстроджент видела в глазах жертв столько раз, что научилась распознавать её с первого взгляда.

Эта девушка не покорилась. Она сидела обманчиво неподвижно, но Сара, умевшая читать людей по микродвижениям плеч, чётко видела: руки пленницы под грязными складками платья не лежат безвольно. Они работают. Тихо, методично, безжалостно сдирая кожу, её скрытые пальцы перебирали узел за узлом, ослабляли петли. Толстая стяжка на её запястьях была уже совсем не так туга, как, вероятно, ещё час назад.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.